

ГЛАВА 1

Возница передней телеги, поправив дорожную поддёвку, громко скомандовал:

– Тпру!

И соскочил на землю.

Обе повозки остановились. Сквозь рыхлую пелену белёсых облаков сочился свет майской луны. Там, куда он падал, загоралось огненное жёлто-оранжевое зарево – и на тупых вершинах сосен, и на их лапах, и, ещё больше, на поверхности серебристой от росы травы, уходящей от края дороги в неведомую черноту.

– Будем прощаться? – спросил Врангель.

Достоевский промолчал, сжался. Опустил голову так, что не видно глаз. Только на впалых щеках оставались следы недавних слёз, которых он не скрывал – не хотел или не мог...

Врангель не ждал ответа на свой вопрос. Он знал, что в эти последние минуты перед расставанием Достоевскому надо побыть хотя бы несколько минут возле Марии Дмитриевны.

– Адам! Шампанского на посошок! – обратился Врангель к слуге, выполняющему в настоящую минуту роль кучера.

Из сундучка извлекли две тёмные бутылки игристого белого вина «Вдова Клико». Луна облизала блестящее заграничное стекло. Адам со-

рвал металлическую проволоку – мюзле. Врангель прошёл к передней телеге. На солдатском тюфяке выдавливал из себя бессвязные слова Исаев, прижавшись спиной к сыну Паше.

– Идём ко мне в линейку, Александр Иванович! Ещё по паре бокалов за лёгкий путь...

Исаев прытко соскочил на землю. Его изрядно покачивало.

– Это мы, Егорыч, вмиг! Это мы...

Адам выставил на поднос три бокала. Исаев, не дожидаясь напутствующих слов от Врангеля и Достоевского, одним махом схватил дрожащей рукой бокал и опрокинул содержимое в рот.

– Пардон-с, господа! За нашу счастливую дорогу!

После второго бокала, переходя на икоту, произнёс тоном обиженного ребёнка:

– Горит душа перед неясностью грядущих событий... Вот ведь как...

Достоевский молчал, не поднимая головы. Врангель повёл плечами, бессловесно протянул третий бокал Исаеву.

– Адам, откупоривай ещё!

Исаев устало опрокинулся в повозку Врангеля, навалившись спиной на продольную деревянную перекладину.

– А пусть будет так! – смыкая веки, выдохнул он. – Счастье – оно всегда впереди... Это я вам

говорю, господя! Счастье нам никогда не обогнать! Нет-с!..

Адам знал своё дело. После нового хлопка улетела в оранжевую траву вторая пробка. Исаев оживился на некоторое время. Снова вплеснул в себя несколько глотков шипучего наслаждения. И тут же откинул голову и захрапел.

Достоевский прошёл к телеге, на которой находилась Мария Дмитриевна. За всё время обрывчатого разговора мужчин она не проронила ни слова. Сидела в тёплой душегрейке, словно большая встревоженная птица, собравшаяся взлететь и скрыться в загадочной черноте хвойного леса.

– Я вас никогда не увижу, голубушка Марья Дмитриевна! – остановился около колен любимой женщины Достоевский. – Вы поймите, как жестоко оставаться одному в этом гадком мире... Не видеть вас... ни завтра, ни через неделю, ни через год...

Голос Достоевского предательски дрогнул. Он взял руку Исаевой, прижался к ладони щекой. Женщина почувствовала, как горячее дыхание Достоевского коснулось её озябших пальцев, а в ладонке ладони остался жар мужских слёз отчаяния.

Его голова припала к груди Марии Дмитриевны.

– Милая моя! Единственная в жизни радость! Ясочка моя!..

Проснулся Паша. Приподнял голову.

– Папенька где?

– Спи, голубок! Спи! Он расстанется с Александром Егоровичем. Сейчас тронемся... Видишь: уже прощается Фёдор Михайлович...

Исаева положила ладонь на голову Достоевского. Жидкие, тонкие, как вычесанный лён, волосы...

«Тепло ли ему с ними зимой?» – подумала она, перекрестив голову, и добавила вслух:

– Бог не оставит нас, всё в его руках. Как решит, так оно и исполнится! Полно убиваться, мой дружок! Вы же знаете, насколько я несвободна в проявлении своих чувств! И от этого в сердце ещё больше тоски и горечи...

Из-за деревьев показался возница Исаевых.

– Хозяин-то чего?.. Пожалуй, остаётся али как?

Не торопясь подошёл Врангель. Обнял за плечи Исаеву.

– Счастья вам на новом месте. Берегите себя там. Кузнецк не Семипалатинск. Климат бо-

лее суров и больше предрасположен к болезням. Пусть вас хранит Бог! А мы будем молиться за вас.

Адам, накинув одну руку Исаева на своё плечо, вёл его к телеге. Тот бесчувственно мотал головой, пытался что-то произнести, но у него ничего не выходило. Наконец Исаева уложили возле сына, где он и уgomонился.

Мария Дмитриевна, не снимая душегрейки, накинула на себя шаль, коротко взмахнула рукой: мол, прощайте! И гружёная телега двинулась в сторону Шемонаихи...

Нарушив ночной покой, загремел поддужный колокольчик коренника и мелко ударил подшейный бубенчик пристяжной лошади. Из-под колёс поднялась тёмно-сиреневая пыль.

Сквозь неё было видно, как в самом конце телеги топорщится перевязанный пеньковой верёвкой немудрёный скарб Исаевых: внизу обитый в диагональную полоску деревянный сундук с посудой, зеркалом и зимней одеждой, чемодан с бельём, холщовый мешок с обувью и разным старьём, рядом с ним самовар, добравшийся в эти края аж с самой Астрахани. Возле хозяйки возвышался баул с дорожным провиантом, лекарствами и бронзовым распятием Христа. Всё остальное из хозяйства было роздано в счёт накопившихся долгов...

98

ГЛАВА 2

К городу подкатили далеко за полночь. До самого утра Фёдор безостановочно ходил по отведённой ему комнате. Он не раздевался, от долгого пребывания в сапогах ныли ноги...

Наконец повалился на холодную по-монашески постель. Но ему казалось, что вот-вот раздастся близкое ржание лошадей и под окнами остановится вернувшийся экипаж семейства Исаевых... Проходило ещё несколько минут. И возникла совершенно другая мысль. Нет, нет... Это невозможно! Они теперь так далеко, что, будь он голубем, всё одно бы не догнал их. Фёдор готов был кинуться вслед за своей Машенькой, догнать телегу и бежать как непривязанная собака. Только бы быть рядышком и дышать её присутствием... Потом мысли путались. Фёдор пытался встать с топчана, но снова обессиленно валился в ненавистную постель. Он ещё никогда в жизни не жалел себя так, как в эти минуты... Такого с ним не было ни в начале солдатчины, ни на каторге в Омске, даже на Семёновском плацу в день предстоящей казни

вместе с другими петрашевцами – двадцать второго декабря сорок девятого... Подобного крушения он не испытывал и в те дни, когда трагически скончался его батюшка Михаил Андреевич, а ещё раньше, когда отдала Богу душу любимая маменька Марья Фёдоровна...

Фёдор до солёной крови кусал иссохшие губы. Как дитё, рыдал, уткнувшись в набитую опилками казённую подушку.

И бесконечно повторял одно и то же:

– Где ты теперь, милая? Ясочка моя ненаглядная...

С восходом солнца он незаметно задремал, но вскоре осознание случившегося выдернуло его из тонкой дрёмы. Всей своей сущностью почувствовал себя не просто слабым и разбитым, а никчёмным и уничтоженным. Это было намного хуже того состояния, когда он возвращался к жизни после очередного приступа тяжёлой болезни. Будь она проклята, эта падучая!.. Господи! Чего только не навалилось на него одного!..

Правда, привязавшуюся к нему болезнь Достоевский давно считал неотрывной частью собственного тела – тем же, что были для него руки, голова, сердце, наконец душа, – то есть всем, что вложено в человека Богом.

Припадки ослабляли, истончали его организм, как истощает тело любая другая болезнь. Но эта не иссушала до дна его дух и сознание, а наоборот, как будто бы старалась выковать в нём силу и волю, озарить временно помутившееся сознание. ТАМ был другой мир, в нём всё было устроено по-другому. Достоевский вдруг выбывал из реальной жизни, а потом возвращался в неё. Возвращался, правда, разбитым, с болью в каждом мускуле, в каждой клеточке тела.

Фёдор не мог понять, кто в нём борется: или он с болезнью, или она с ним. В конце концов он свыкся, смирился с этим состоянием. С годами так глубоко погружался в протрацию, что совершенно ничего не помнил после очередного приступа. Но проходило время, и с каждым новым возвращением душа становилась божеественно просветлённой. Это придавало ему удвоенные силы, несокрушимую веру, терпение и работоспособность... Значит, это был дар, ниспосланный Спасителем во имя благополучия и счастья человека...

А сегодня Фёдора настиг иной удар. Это был итог неразделённой любви. Любви несчастной, без каких-либо надежд. Фёдор понимал, что с отъездом Исаевых он враз лишился будущно-

сти, брошен на произвол судьбы, как упавший с дерева жёлтый лист. Все его высокие надежды и планы будут поглощены суетой сует. Останется только одно сплошное прошлое.

Мысли пережегались между собой, путались в сюжетах канувших семипалатинских встреч с уехавшим навсегда человеком. Но вскоре снова возвращались к дороге, облитой лунным светом...

Он, как ни старался, никак не мог припомнить, когда впервые познакомился с ней, точнее, когда обратил на неё особое внимание. Сейчас ему казалось, что он знал её всю жизнь, нёс её в себе с того дня, сколько помнил себя человеком. Ведь это не придуманный им Макар Деушкин, а он, Фёдор Достоевский, бесславно и несчастливо прожил большую часть жизни рядом с Марьей Дмитриевной. Ещё будучи кондуктором, то есть воспитанником Главного инженерного училища в Петербурге, и не зная женской плоти, Фёдор сотворил в голове образ той, которую потом нечаянно встретил на земле и так нелепо потерял...

Он долгое время пытался схоронить её от посторонних глаз под условным именем Варвары Алексеевны Добросёловой. И вот чем всё это закончилось! Горем, слезами отчаяния и обидами...

– Ясочка ты моя ненаглядная!.. Вечная ты моя любовь...

99

ГЛАВА 3

Первая весточка из Кузнецка застала его врасплох. Хотя ждал её ежедневно и ежечасно. И сам писал почти каждый день, только дорожная почта не торопилась доставлять его письма до адресата. Да и выходило из написанного им, что он больше всего радеет о семье Исаевых, а о любви своей чувства излагал, сжавши зубы, и всё, что относилось к этой любви, мысленно пытался упрятать между ровным порядком строк...

Сообщение из Кузнецка пришло с казённой почтой на имя Врангеля – стряпчего по уголовным и гражданским делам только что образованной Семипалатинской области. Так письмо без всякой мороки и опаски могло дойти до человека важного и ответственного. Ну а тот-то знает все тонкости и особенности этого дела...

Александр Егорович подал Достоевскому не вскрытый конверт из Кузнецка. Фёдор несколько раз пробежал по одной стороне листа, на которой уместилось всё скромное послание. Мария Дмитриевна писала, как и где они устроились в Кузнецке, чем теперь занимается Александр

Иванович. Оказалось, что квартируют они недалеко от тамошней реки Томи, почти на самом въезде в Кузнецк, если ехать из Барнаула по зимнику, а муж определён заседателем по корчемной, то есть кабацкой части... Вот так и почти всё...

– Шуку выпустили в море, – с горечью заметил Достоевский про Исаева, – добром не закончится...

В порыве нахлынувших чувств Фёдор строчит одно письмо за другим. Благо новостей в городе да и в батальоне хоть отбавляй... Только до чего ж гадко устроена почтовая служба! Письма приходится отправлять с совершенно случайными людьми: ямщиками, а то и татарами-извозчиками, доставлявшими в Кузнецк различную кладь.

Но больше всего Достоевского терзает нелепая мысль: во что бы то ни стало встретиться, поскорее повидаться с предметом своей трагической любви. Червь разлуки грызёт его нутро с каждым днём ухватистой и больнее. Так дальше жить нельзя...

С подачи Врангеля друзья из окружения Достоевского предлагают организовать встречу «на нейтральной территории». Подходящим местом кто-то показал на город Змиев – центр Змеиногорского серебряного рудника. Но любимая женщина пишет, что по сложившимся причинам выехать никуда не сможет. Достоевский понимает и принимает эти причины. Мария Дмитриевна права: она уже сообщала, что у мужа на фоне беспробудного пьянства прогрессирует застарелая чахотка. Кроме того, Змиев не какой-нибудь Салаир, он располагается даже не на середине пути от Кузнецка, а почти под самым носом Семипалатинска. Это не рукой подать, а сотни проклятых вёрст...

Было бы бесстыже выманывать замужнюю, к тому же больную женщину на такой длительный и дорогостоящий вояж ради нескольких минут или даже, пускай, часов тайного свидания. Так что, несмотря на огромное желание увидеть и обнять любимого человека, он больше не проявляет никаких потуг в отношении эфемерной встречи. Достоевскому лезет в память фиаско придуманного им Макара Девушкина, который вырвался из писательского подчинения и безрезультатно пытался уговорить Вареньку сделать выбор в свою пользу. Только он не Девушкин и поступить так, как его герой, никогда не сможет... И в то же время Фёдор не хочет смириться со сложившимися обстоятельствами.

Проходит чуть более месяца, и до Семипалатинска докатывается неожиданное письмо, в ко-

тором изложена скорбная весть: мол, Александр Иванович приказал долго жить. Скончался несчастный утром 4 августа на тридцать третьем году жизни. К смерти подошёл с ясной головой, сделал последние наставления жене и сыну, несмотря на неимоверную боль в иссохшем теле. Жена не написала ни единого слова, которое бы могло бросить тень на ушедшего в вечность супруга. Врангель, бегло пробежавшийся по поданному Достоевским листу, обнаружил, что за каждым словом Марии Дмитриевны чувствовался весьма сдержанный человек с высокими нравственными устоями... Таких людей на свете – единицы.

Фёдор не знал, что к этому времени семейство Исаевых в Кузнецке терпело полнейший денежный крах. Глава семьи в последние дни перед смертью осознавал, что будет похоронен на чужие, заёмные или поданные в виде милостыни деньги, в лавках ещё больше вырастут зачётные долги, нечем будет кормить сына Пашу. В Сибири у Исаева нет ни одного близкого человека, к которому можно обратиться без унижения собственного достоинства. Почти вся родня отвернулась от него... Правда, есть младшие сёстры жены Соня и Вера – только где они... Да и у них нет лишнего капитала. Так что даже на маломальскую помощь надеяться не приходится...

100

Должно быть, в подсознании у Александра Ивановича имелась слабая мыслишка, что семью пустить по миру не позволит только один на свете человек – Фёдор Михайлович Достоевский. Но Исаев никак не мог сообразить, как извернётся в сложившейся ситуации бедный солдат, живущий в далёком степном городке. И всё-таки, пока тлела мысль, стоящий на смертном пороге Исаев пытался ухватиться за последнюю ниточку...

ГЛАВА 4

До Фёдора Михайловича добирается сообщение, что его любимая женщина в Кузнецке утоляет свою бедность милостыней от чужих людей. Но и сам он тоже нищ, пуст – без гроша в кармане и к тому же ограничен в свободе. Как придуманный им когда-то обречённый на бедственное существование Макар Алексеевич... Незабвенный человек. Правда тот в полном смысле был втопан в грязь – у него из рваных сапог вылезли наружу пальцы... А Достоевский, слава Богу, носил кем-то недоношенную, но ещё пригодную для пользования солдатскую обувь...

Он мысленно перебирает свою ближайшую родню. Из всех родственников, кто способен

оказать малейшую денежную помощь, оказывается только старший брат Михаил... Он бы, без условно, вошёл в положение Фёдора. Но Михаил так далеко... Да и из последних писем следовало, что тот сам на краю краха – недавно у него сгорела папиросная фабрика. Ну а тётушка Александра и родные сестрицы Варвара и Вера, подмятые тёткой под себя, вообще не хотят слышать о какой-либо женитьбе впавшего в безумие родственника...

Мысли высветили образ самой младшей сестры Сашеньки. Но Александра тоже с недавних пор отвернулась от Фёдора, возгордившись тем, что стала «подполковницей», выйдя замуж за Николая Ивановича Голеновского, удачливого инспектора Павловского кадетского корпуса в Петербурге. Других братьев можно совсем не принимать в расчёт. Где-то в провинции прозябает добрая душа бессребреник Андрей, тот, которого он когда-то пытался «выходить» от настигшей хворобы. И ещё Николаша, неудачливый инженер-архитектор, – любитель выпить и сам больше других нуждавшийся в постоянной помощи... Очень одиноким почувствовал Фёдор себя внутри своего далёкого семейства...

Наконец, решившись, Достоевский пишет просьбу ближайшему для него человеку барону Врангелю, который некстати оказался в отлучке: «Я умоляю, мой дорогой друг, послать Марье Дмитриевне любую возможную в сложившихся обстоятельствах сумму денежных средств. Буду Вашим вечным должником! Хотя бы пятьдесят рублей серебром...».

По этой его просьбе Врангель незамедлительно высылает в Кузнецк несколько сот рублей, хотя сам он в это время оказывается в весьма щекотливых жизненных обстоятельствах.

Врангель влюбился в белокурую красавицу – жену горного начальника Алтайских заводов, то есть в супругу полковника Андрея Родионовича Гернгросса – человека, известного не только в Сибири, но и Петербурге. И завёл со знатной женщиной роман. Любовница, к сожалению Врангеля, оказалась непростым орешком. Екатерина Осиповна Гернгросс, тридцати трёх лет от роду и уже мать шестерых детей, длительное время пребывая в любовной связи с прокурором, одновременно пытается соблазнить других красивых мужчин, вьёт из них верёвки, хочет получать дорогие подарки. Но не мыслит потерять высокопоставленного супруга.

До Александра Егоровича, вначале обезумевшего от своей барнаульской бестии, доходят

слухи, что к его пассии с намерениями разделить любовь тяготеют другие важные персоны, среди которых числится некий ловелас под условным именем Маркиз. Врангель, конечно, понимает, кто это: человек из близкого к нему окружения. И прокурор старается укоротить отношения с мадам Гернгросс, первым делом ограничил себя в расточительстве...

Но финансы Врангеля всё равно исчерпываются... Он переживает любовное фиаско, но не может признаться в этом даже ближайшему другу Достоевскому.

Нет, Врангель не скрывает своей «подлой» любви к «краденной у мужа Катеньке». Даже пытается чем-то оправдать её и себя. Но в нём живуч немецкий рационализм, и он, разложив все «за» и «против», не верит в благоприятный исход зашедших так далеко отношений с очаровательной соблазнительницей.

Деликатно, исподволь Врангель пытается убедить и Достоевского в бесперспективности его чувств к Исаевой. Ну, мол, не судьба, дружище: твоя безденежная военщина, эта проклятая падуция, отступающая только на короткое время, и полная неясность с будущностью в литературе... Хотя для меня вы, Фёдор Михайлович, продолжаете оставаться выше самого Гоголя! Вот так...

Неприятный осадок у Врангеля остался от последнего крутого разговора с Достоевским. Коснулись отношений с Исаевой.

– И что? – протестующе заявляет в порыве не то гнева, не то смятения Достоевский. – Во мне всё пережито, расставлено по местам. Я не отступлюсь ни на шаг, что бы со мной ни случилось... Я не знаю и не хочу знать, как и что там происходит у вас... А я люблю свою Марью Дмитриевну и буду любить неизменно! Слова других людей меня совершенно не интересуют... Главное, что я горд этой любовью и понесу сокровенное чувство через все невзгоды... Так, как я, не смогу любить никто другой!.. Вы же знаете меня, Александр Егорович!

Врангель хотел было упрекнуть друга в излишней самоуверенности и эгоизме по отношению к любимой женщине. Но Достоевский резко поднялся, накинул на плечи потрёпанную шинель с поднятым красным воротником и молча выскочил из кабинета...

ГЛАВА 5

А жизнь шла своим чередом. В январе тысяча восемьсот пятьдесят шестого года бывшему

штрафному солдату отдельного Сибирского корпуса Фёдор Достоевскому присваивается звание унтер-офицера. Получилось это, конечно, не само собой, а с помощью друзей, причём не только окружавших Достоевского в Семипалатинске и живших в Омске, но и тех, кто помнил его в Санкт-Петербурге. Среди них были и те, кто не знал лично Фёдора Михайловича, но чтил его писательский талант.

Правда ещё до этого времени жизнь Достоевского понемногу стала меняться к лучшему. По протекции генерала Константина Ивановича Иванова, водившего знакомство с некоторыми друзьями Достоевского, ему разрешили покинуть казарму и переселиться в съёмную комнату в прилегающей к гарнизону слободке.

Ротный командир Степанов подходящим местом для житья унтер-офицера выбрал дом Пальшиных, расположенный на пустыре вблизи старого кладбища. Безотрадное место, зато недалеко от начальства. Старая изба из нестроевого леса, углы и стены которой перекошены. Простенки для тепла кое-как смазаны глиной, побелены на один раз. Вот уж действительно: поиздевался Бог над черепахой... Из мебели угодили две скамьи из нетёсаных плах да три гнутых по-венски стула, на стенах красовались лубочные картинки с видами праздничных веселий, загаженные мухотвой. Почти от самого порога разместились пузатая русская печь. В комнате за ней устроили постель квартиранту, вместо комода поставили старый ящик из досок. Угол Достоевского хозяйка Пальшина отделила ситцевой перегородкой. В главном помещении стоял скрипучий стол без клеёнки. Небольшое зеркало в раме из резного дерева. Выцветшие, полинялые до истончения занавески кое-как прикрывали несколько горшков с геранью. На всём налёт копоти от дешёвых свеч. И только одно развлечение: из углов, щелей и дырочек глядят на тебя сотни длинноусых тараканов...

Но и в таких условиях после казармы Достоевский почувствовал себя на седьмом небе! Он достиг малой свободы – делай у себя что пожелаешь! А ему хотелось только одного: писать и писать... Ротный Степанов своё дело знал досконально, он догадывался о тайных желаниях Достоевского и сразу же с его появлением в батальоне приказал своему фельдфебелю приглядывать за солдатом – как-никак за тем тянул хвост бывшего политического кандалника.

К счастью, бывалый фельдфебель за малую мзду устранился от всякого надзора и перестал вникать в дела своего подопечного. А с повышением того в звании и вовсе отстал от бывшего каторжанина.

Из головы Достоевского ни на минуту не выходил ангельский образ Марии Дмитриевны. Фёдор не столько был рад своему долгожданному раскрепощению, сколько возможности приблизить мечту: увидеть наяву и обнять ненаглядную ясочку...

Под впечатлением от разговоров с прокурором Врангелем и с одобрения жены Катюши полковник Гернгросс весьма положительно относился к писателю Достоевскому. Он даже изъявил желание, чтобы тот перешёл к нему на службу и готов будущему работнику при чертёжном кабинете платить достойное жалование. Фёдор, не веря в то, что перед ним когда-нибудь откроются двери отечественных издательств, согласен переехать в Барнаул. Но возникает загвоздка: надо любой ценой добиться согласия начальства военного и тюремного ведомств. Без такого разрешения переезд Достоевского в Барнаул невозможен.

В конце концов рождается хитрый ход: по указанию Гернгросса его люди из горного округа изыскивают причину для командировки Достоевского в Барнаул. Двадцатипятилетний адъютант губернатора красавец Василий Петрович Демчинский, человек, ни на минуту не расстающийся со своими золочёными аксельбантами, готов повернуть остросюжетную затею с поездкой унтер-офицера. Пока что до Барнаула...

ГЛАВА 6

В холодные дни конца февраля тысяча восемьсот пятьдесят четвёртого года из Омска вдоль обрывистого берега реки по казацкому тракту передвигался на юг небольшой санный обоз в сопровождении пяти конвойных казаков. Изредка всхрапывали покрытые инеем лошади. То и дело воздух резал скрипучий визг, срывающийся с санных полозьев.

На одних из саней сидел небритый, старческого вида человек с глубоко запрятанными глазами. Это был бывший узник омской каторжной тюрьмы Фёдор Достоевский. Его и ещё нескольких человек ссылали на пожизненную солдатчину в Семипалатинск, расположенный на правом берегу Иртыша и окружённый бесконечными киргизскими степями...

После тягостной и душной тюремной обстановки, после неумолчного лязга металлических запоров и зычных команд бескрайность Прииртышья туманила, до одурения хмелила голову. Здесь, казалось, была полная свобода, жаль, только Бог не дал за спиной крыльев, а то бы так и воспарился в морозное бирюзовое небо и растворился у кромки самого солнца...

– Значит, так! – оглядел нехорошим взглядом приехавших и поставленных в шеренгу офицер, временно исполнявший обязанности ротного командира. – Здесь вам не там! Корм в батальоне никто зря не ест... – И кивнул стоявшему слева ефрейтору с белой лычкой на погоне: – Чтобы до вечера очистили отхожие места от дерьма!

Круто развернулся и, насвистывая известную только ему польскую мелодию, пошёл в штабную комнату.

Так началась жизнь бывшего писателя, педрашевца и заклятого каторжника в новой ипостаси. Достоевскому определили место в казарме. Дощатые нары у дверей, которые весь день почти не закрывались, а ночью из щелей в них сквозил пронизывающий поток воздуха, укутывая толстой наледью порог и нижнюю часть косяков. Бывало, дверь за ночь так примерзала внутри кривого проёма, что два человека с силой отрывали её со своего места... До утра из разных концов казармы доносились стоны хворых солдат, не попавших в батальонный лазарет ввиду его переполненности. И там, и здесь бок о бок лежали люди, которых мучили скорбут (цинга), ревматизм, костоеда суставов, чахотка и даже тифозная горячка.

Казалось, в эту единственную на свете юдоль согнали весь человеческий сброд. Тут были и старики за пятьдесят, и молодые люди, которым только что исполнилось восемнадцать. Кого-то за своевольный нрав в солдаты сослали помещики, другие тянули ляжку так называемых наёмщиков, отбывая за долги и деньги мучительную службу. Были здесь штрафники из воинских подразделений Центральной России. А в последнее время появился новый сорт людей – государственных преступников, которым смертную казнь или каторгу заменили пожизненной солдатчиной.

Соседом по нарам оказался расторопный паренёк Наум Кац, человек иудейской веры. Свою солдатскую долю он отбывал за дезертирство из Тверской губернии, куда попал из Бердичева. Наум родился в семье потомственного

портного, понимал толк в шитье и этим обеспечивал себе более или менее сносные условия существования...

Каждодневные изнурительные построения и смотры на плацу доводили солдат до полной потери сил. Муштра, муштра до одеревенения не только тела, но и мозгов. За малейшую провинность могла последовать палочная расправа. А если огрызнулся или, не дай Бог, недобро посмотрел на офицера, ожидай прогона по «зелёной улице». Достоевский больше всего боялся этого наказания, боялся не только физической боли. Он знал, что не сможет перенести насилия над собой. Тело как-нибудь может перетерпеть, а душа – нет, она не вынесет – тогда только на шею верёвка...

Не менее ужасным было участие в палочной расправе. Однажды Достоевского поставили в «зелёную улицу». Сквозь строй прогоняли тщедушного солдатика, плюнувшего вслед хамоватому штабс-капитану Свиныну. Два казака волокли полуживого бедолагу без натальной рубахи. Сплошной багровый пласт тела чуть заметно вздрагивал под ударами.

Достоевский размахнулся и... его вырвало. После этого он долго пил вонючую тёплую воду, которая вскоре извергалась к его ногам. Мерешилось, что внутри него скопилось вся гнусность, которую он ежедневно впитывал в себя на плацу и в казарме... Вечером того же дня с ним случился припадок.

– Больше в «зелёнку» этого хлюпика не назначать! – отдал приказ командир первой роты Андрей Иванович Бахирев, молодцеватый офицер, понимавший свою службу святым, но в то же время собачьим делом.

Теперь Достоевский считал дни, проведённые в омской тюрьме, днями мёртвой жизни, но они хотя бы не калечили его душу. А тут...

Так прошло без малого два года.

ГЛАВА 7

Часов около девяти утра к Пальшиным постучал солдат.

– Чего тебе, служивый? – вышла заспанная хозяйка дома. На её опухшем лице красовались красные вмятины от долгого и безмятежного сна.

– Его благородие Достоевского срочно требуют к себе ротный командир.

– Какая надобность? – вслед за Пальшиной показался в натальной рубахе встревоженный квартирант.

103

– Не могу знать, вашбродь! Приказ есть приказ, – и ухмыльнулся.

Ему не раз уже приходилось переть сюда, в слободку, с одним поручением: вызвать к очам начальства унтер-офицера Достоевского, недавнего товарища по казарменным нарам и, как правило, замыкающего ротное подразделение на учебных или торжественных смотрах...

В штабной комнате сидело несколько человек. Почти все дымили папиросами, полученными с последней оказией из Омска.

Присутствующие находились в благожелательном расположении духа. Особенно командир батальона подполковник Григорий Беликов. У него была простая русская фамилия, но многие называли его на свой и даже киргизский лад: Белихов и даже Велихов... Он откликнулся на любую из них и, пожалуй, не помнил фамилию, доставшуюся от родителя. Подписи, не задумываясь, ставил под той, которая сидела на уме писарей.

Загорелое лицо молодило его. Командир в свои за сорок выглядел необыкновенно свежо, к тому же был юрким и подвижным. Подполковник глубоко затянулся, выпустил через ноздри две голубые струи дыма и обнажил редко расставленные зубы.

– Подфартило тебе, Фёдор Михайлович. Гернгросс в Барнауле прослышал о твоих талантах в фортификации, просит откомандировать в своё распоряжение дней на десять. Я бы, конечно, не дал согласия... Такие люди, понимаешь, самому под боком нужны. Да больно в твою пользу наседали Демчинский. Тут уж не попрёшь против власти. Хоть и знатный он в наших краях ходок, зато правая рука самого генерал-губернатора. То ись Гасфордта Густава Христиановича. Дай ему Бог здоровьица! – и разулыбался. – По правде сказать, я бы с тобой и сам рад поехать. Шампанского попить вволюшку, на балу с красивыми дамами побеседовать. Мазурку, польку, поди б, станцевал не хуже какого сосунка... А так... рад бы в рай, да грехи, брат, не пускают...

Писарь с завитками седеющих волос торпливо выписал подорожную, батальонный казначей выдал прогонные. Ровно столько, сколько полагалось унтер-офицеру: при кореннике с одной пристяжной ровно две копейки за каждую версту. Итого в оба конца почти 18 рублей.

На улице Достоевского снова повстречал неугомонный Беликов.

– Я уже дал команду, Михалыч. Поутру за тобой подкатит тарантас. Приветствуй от меня лич-

но барнаульское начальство. Скажи, что я им всегда рад! Мои запасы в ларях неистощимы...

Эх, знал бы ты, бедовая голова Беликов, что не безграничны твои подотчётные запасы... Тогда б не пустил себе в скором времени пулю в лоб!

Утро удалось тихое, бескрайнее, словно ни в одной из четырёх сторон света не имеет берегов. И земля будто ни в одной точке не касается неба. И вдоль пути растёт не придорожная трава в росной изморози, а лежит Богом рассыпанный по ковылю изумруд...

На заставе экипаж встретил дежурный офицер. Его заранее предупредили о путнике, направляющемся в Барнаул. Инвалид (должность нестроевого солдата, поднимающего шлагбаум по команде офицера) с выпученными глазами пропустил незнакомого ему унтер-офицера. Он припомнил, что около года назад видел это же лицо здесь, только в другой форме – рядовым солдатом. Тогда он сидел в одной линейке с важной городской персоной – Врангелем... А сейчас...

– Уф ты! Уже унтер-офицер! Ужаси какие-то в этом Семипалатинске... Взаправду говорят, что скоро нагрянет конец света...

ГЛАВА 8

107 Дорога была невесть какая: не то что столбовой тракт. Но вполне сносная для почтовой службы. Пара с отлётом бежала резво: коренник – рысью, пристяжная – галопом.

– Лучше всего гонять по этой дороге, барин, зимой. Экипажи проходят за час до двенадцати вёрст. А мы ноне вытягиваем не боле как девять-десять. Но, благо, что не осенняя слякоть. Там, барин, больше восьми не возьмёшь... Конечно, оно и от того зависит, сколько лошадок в прогоне. Бывает, восседает какой-нибудь генерал, так у него обязательно должна быть тройка, не меньше. Вот он-то летом может и до пятнадцати выжать. Только дорого это потом обходится нашему брату. Или гнедых загонит на тот свет, или колёса сразу за поскотину выкидывай... Спицы и ступицы у них – они ж, барин, не вечны...

Достоевский был доволен, что ехать удалось на «сквозных», то есть не меняя лошадей на почтовых станциях, и ямщик попался в меру словоохотливый и неглупый. Не любил Достоевский, когда дурь в человеке соседствует с пустым словом.

– Вот, ишь, уже и Красноярское проскочили. Пристроилась деревенька к городу... А ежель посудить: оно, может, и к лучшему. Это как у нас: слабый к сильному...

В стороне слева умудрились создать кривую улочку курени и избы, крытые в большинстве камышом и соломой. В основном тут ютились казачьи семьи. Там, где обитали казаки, над избами играли белизной трубы, помазанные известкой. Казачий полковник Мессарош начальствовал не только над местным казачьим полком. Он, если видел у казака небелёную избу или трубу, всегда велел дать «горячих» казацкой бабе. А в остальном полковник был благовоспитанным, завёл в городе духовой оркестр, считался холостяком, хозяйство у него вела смазливая и большегрудая подруга Анастасия Александровна.

Почти под окнами жилых построек и вдоль оград протекала речка Уба. На северо-запад от неё тянулась плодородная грива. На ней не видно ни единого бугорка и маломальского деревца. Конец гривы уходил к горизонту и, где-то обогнув излучку реки, терялся в десятках вёрст от этого места.

– Кормилица нашего края, – ямщик пальцем обвёл очертания бескрайнего пространства. – Отсюда и до пустынь рукой подать. А если глянуть вон туда, – возница опять рисует в воздухе пальцем, – то в хороший день можно увидеть верх Ивановского хребта. Вся высь у него, барин, как у царя, в снежных шапках...

Достоевский вспомнил, что год назад этой дорогой в полночь они вместе с Врангелем провозжали в Кузнецк Исаевых. Теперь торопливое ожидание на душе не даёт покоя... Если не подведёт какая-нибудь неожиданность, он через несколько дней увидит свою ненаглядную Машеньку, прижмёт к своей груди её дорогое лицо.

А вот и те два дерева, возле которых происходило их безрадостное расставание. Всё было будто вчера... Да, словно вчера...

Подкатили к большому селу. Странное название – Шемонаиха.

– Старое место, барин. Лет сто скоро будет селу. В этих местах, толкуют, в незапамятные времена гулял беглый человек Шемонай со своей шатией. Потом поосел здесь народишко, нагулялся. Заселяться стала земля... И вот что интересно: обычай пошёл с тех пор чудной. Приглядись-ка, барин: у каждого дома в заборе полочка отдельная встроена. На ней хозяйева на ночь пропитание оставляют – кто хлеба с молочком, кто пирожок с грибами. В помощь таинственному прохожему или беглому человеку, что может скрываться в здешних лесах...

– От кого скрываться у вас тут? – с хитрецей закинул вопрос Достоевский.

– Шуткуешь, барин! Знамо дело: от властей... – и на всякий случай разговор на скользкую тему оборвал. Бог его знает, что у того барина на уме? Может, непростой человек, а потому завтра сам окажешься среди беглых и будешь искать пропитание в заборной щёлочке...

В Шемонаихе устроили небольшой привал. Ямщик насыпал лошадям овса, а сам сел в теньчек, разложил на тряпице нехитрый обед: ржаной хлеб, бутылку квасу, огородную зелень. Достоевский на станции отметил подорожную, спросил, где можно испить стакан горячего чаю.

Человек с длинными усами, каких Достоевский в жизни не видывал – от одного уха до другого, пощупал выступающий хрящеватый кдык и ответил тонким, почти детским голосом:

– Вот подале от нас кабачок и лавчонка. Там вас и попоют. А наш чай остыл давно, да мы и сами носим его оттудова... Самовар заводите каждый раз не с руки.

Под вечер добрались до Змеиной горы. Здесь решили переночевать. По совету Демчинского тарантас с ездоками подкатил к дому управляющего рудником Шатцу. Хозяин оказался скуповатым и педантичным немцем с немигающими глазами. Он дал слугам строгое распоряжение и тут же отправился в Морфеевы чертоги, сославшись на слабое здоровье...

ГЛАВА 9

Незаметно проскочили село Алейское.

– Скоро деревня Саввушка будет. Это отчего, думаешь, барин, она названа так? Да оттого: кто первым обжился на одном месте, в его имя и название оставлено... Тут, выходит, первым кол в землю вбил человек по имени Савва. В давние времена, говорят, дело было. Никто уж не помнит того Савву, а вот имечко с добром прижилось: Саввушка. Для народишка, видать, человек люб был. Подле деревни озеро есть. Тоже Саввушкино. Я, барин, вас непременно к нему свезу. У озера лошадёнкам водопой по обязательности каждый раз устраиваю.

Свернули с наезженной колеи вправо. Озеро оказалось верстах в четырёх. Тёплая голубовато-серебристая вода. Достоевский с восторгом опустил загрубелые руки в воду. Сделал несколько глотков, обмыл лицо, смочил волосы:

– Счастье-то какое – жизнь! Надо ж так!..

Уж и не помнил Фёдор, когда в последний раз он стоял на берегу безлюдного водоёма и пил такую сладкую воду...

105

– Питает озеро речонка Колыванка. Плюгавый водоток, но силу даёт воде необыкновенную! Вон там орех в воде растёт, тоже особенный, рогульник называется. Кто-то ещё чилимом кличет. Кожура у него, как головка у чёрта, барин. Цветёт он, цветёт, а потом – бац! И враз ушёл под воду. Люди берут тот орех из-за его полезности. Глазам, говорят, помогает, от нарывов всяких, от почечуя...

– От нарывов, говоришь... От каких нарывов? Или ничего толком не знаешь? – с живым интересом поднял голову Достоевский.

– Почему ж не знать? Тут бабка одна, Попиха, живёт. Она мази ладит всякие. И заговаривать может. А нарывы – они ж, барин, разные: и веред, и чирей, и сучье вымя, если кому не повезло...

Сели в тарантас. Фёдора Михайловича взволновала неожиданная встреча с озером. И невиданные берега его, каких он не встречал ни в жизни, ни на картинке... Не похожее ни на что нагромождение гранитных останцев, принявших самые причудливые формы... Но из головы не выходил чилим, таинственный чертоголовник, который в полном соцветии уходит под воду... И мазь из него. Вот бы иметь её под рукой. Достоевский с дней пребывания в техническом училище страдал простудными нарывами, которые постоянно сопутствовали его дальнейшим дням жизни.

В голову пришёл трагикомический случай, происшедший в ту пору в Петербурге, когда они с Тотлебенем жили на съёмной квартире. Тогда к Фёдору пожаловал младший брат Андрюша. Побыл несколько дней, собрался было уезжать, но его прихватила простудная хворь... Доктор выписал парню микстуру и велел принимать её строго через два часа в течение суток. Вдруг в полночь брат кличет: «Федя, Федя! Надо бы лекарство принять!» Фёдор соскочил с кровати, кое-как протёр тяжёлые глаза и, налив из флакона столовую ложку лекарства, подошёл к дивану, на котором лежал гость.

– Пей, брат! Выздоровливай! – и сунул на язык ложку с тягучим снадобьем.

В ответ раздался душераздирающий крик. С Фёдора мгновенно скатился сон, и он понял, что вместо микстуры налил брату перечного втирания, приписанного доктором от нарывов. Испуганный до смерти Фёдор в разгар темени побежал за ближайшим доктором.

Тот вскоре явился, принял неотложные меры и сердито изложил своё резюме:

– Господа, запомните: лекарства – не шутка. Надо быть каждому осторожным!.. А бедняга бу-

дет жить. Только придётся полежать в постели лишнюю неделку...

Миновали Курью. Въехали в Калмыцкие мысы. Неприглядное место. Кругом землянки и приземистые мазанки.

– В деревне одни азиаты? – полюбопытствовал Достоевский.

– Кто, кто? – не понял возница.

– Киргизы, говорю...

– Какой там! – возразил возница. – Тут вся матушка Расея в кучу собралась... Когда-то селились семьями да цельными деревнями. Рядами, значит, а получились настоящие проулки. Там вон Хохлянщина, поближе Самарщина, обочь Тамбовщина. Ну, а сейчас пересекаем Курщину... Место уж больно беспокойное. К ночи доберёмся до Безголосово. Там и переночуем. Село большое, полторы сотни лет, не мене. Люди живут спокон веков славные, но прижимистые. Ждать нас не ждут, но принять по-людски примут. Опять же имеется на примете ночлег у доверенных лиц, спать будем не в чистом поле, где по голове можно схлопотать кирдык... А спозарани, барин, мы сто вёрст до Барнаула мышкой проскочим!..

Приняла их на ночлег пожилая толстая женщина с морщинистым лицом и большим животом под грязным фартуком. Постелила Достоевскому в горенке, ухоженной, но, видно было, часто меняющей своих постояльцев. Зато ужин оказался отменным. За многие годы первый раз Фёдор поел сдобных шанежек с творогом, попробовал капусты, квашенной цельными вилками, объел рёбрышки карася, зажаренного на постном масле, попробовал первых душистых грибочков, вкус которых забыл с самого Петербурга. Выставила хозяйка на стол жбан с ядрёным квасом, потом развела самовар.

– Можете гонять чай хоть до самого утра! Вот, право дело, токо сахарку ноне нету. Не обессудьте, в следующий раз, может, и будет... – И чихнула.

– Салфет вашей милости! – с радостью поспешил сказать возница.

– Красота вашей чести! – ответила хозяйка, довольная вниманием к своей особе, ещё раз чихнула и улыбнулась, показав два ряда жемчужных зубов.

Утро оказалось неприветливым, туманным. Но ехать надо как ни крутись. Туман ушёл в небо, а не лег в землю. Значит, росой ему не бывать, жди к обеду хорошего дождичка.

Так и вышло. Около полудня с севера навалилась тёмно-лиловая туча. Ударил гром, и со

сполохами молний покатылся с неба целый водопад. Достоевский натянул на плечи и голову солдатский дождевик. Ямщик накрыл макушку головы старой холстиной – остатком изношенного армяка. Они ещё ехали около часа, пока не прекратился ливень, сделавший дорогу почти непроезжей.

– Этак мы, барин, и к завтрашнему вечеру не доберёмся до Барнаула! – с огорчением махнул рукой возница.

Лошади понуро преодолевали свежие лужи, в которых местами колёса повозки уходили под воду по самые ступицы. Достоевский отрешённо смотрел в однообразную серую даль, не предвещающую на сегодняшний день ничего хорошего. Парусиновый дождевик промок насквозь, а ямщицкое укрытие из холстины лежало возле хозяина, как невыжатая половая тряпка. Подул слабый холодный ветерок. В разрывах низких облаков появилось солнце. Его свет, словно локтями, раздвинул серую пелену, и вот с неба снова полился поток тёплых, почти жарких лучей.

Большая часть дождевой воды ушла в землю, стекла в ложбинки местности и под действием солнечного тепла испарялась с поверхности почвы – об этом говорило колеблющееся на горизонте море.

– А может, и доберёмся, – со слабой надеждой в голосе выговорил пригорюнившийся ямщик. – Знатьё бы...

В Чистюньке подкрепились чем Бог послал. А Бог в лице рыжей бабы, которая согласилась принять путников на кратковременную перекуску, выставил самую захудалую пищу.

– Время такое, язви его в душу, поустеет. Муньдерная картошечка, последняя с того года. Сладит чуток, подморозили в подполье. Щи овсяные, ребятки, да хлебушек аржаной, – доложила баба с головой огненного цвета, выставив на стол всё, что у неё оказалось под рукой. – Самовар прохудился, зато отварной воды полна крынка... Мужика-то мово, ребятки, громом убило... Скоро как сороковины... К беде нашей, парня в прошлую осень забрали в рекруты... Так што потчуйтесь, ешьте-пейте на ваше здоровье...

Фёдор с глубоким сочувствием вникал в слова рыжеволосой женщины. Будто он сам пережил с ней зимний голод и только что перенёс смерть неизвестного ему хозяина дома. Вот бывает же так, когда человеческие души как бы смыкаются в одном месте! И одинаково они на-

делены Богом интересами, отмеренными как по единой линейке. Странная это штука – жизнь...

Ни с того ни с сего всё глубже проникала в душу Фёдора эта краснолицая, красноволосая баба... Вот ведь как в природе: она и не родилась ещё вовсе, а предопределено было ей стоять перед ним вот здесь, посреди убогой избёнки. И даже уготован ей на погосте безымянный крест с дешёвым бронзовым распятыцем...

«Что ты пристал ко мне, человек? – думал он, схмурив редкие брови и глядя на бабу, покрытую красными и охряными пятнами. – Брось издеваться!.. Ты никогда не видела меня и дальше будешь жить сама по себе. А мне теперь до конца дней суждено носить тебя в своей голове...»

Перед незавидным обедом возница успел покормить и попоить лошадей. К закату солнца добрались до Калистратихи.

– Что, барин, делать будем? Впереди вёрст тридцать ещё... Ночевать останемся или опять в дорогу?

– Главное, как кони? Выдюжат? Ноги не переломают?

– За моих лошадок ты не боися! Смотри сам под себя: седалище не отмолотил с непривыку?

– Вроде нет...

– Ну тогда добро! К полуночи с передыхом я доставлю ваше благородие ровно в назначенное место.

На том и сговорились.

ГЛАВА 10

У ворот гостей встретил секретарь Гернгросса, рослый детина, по виду ровесник Достоевского.

– Андрей Родионович приказал в ночь полночь будить его, если вы вдруг объявитесь. Его высокоблагородие уже одевается и будет с минуты на минуту.

Слуги зажгли ещё один уличный фонарь. Хлопнула входная дверь.

– Голубчик, Фёдор Михайлович! Отец родной! С вечера ждали вас. Да вот с погодой ни к чёрту... Давай-ка, мил человек, в мои чертоги! С устатку бы в баньку вам, да поздновато. Михаил, Петро! А ну-ка Фёдору Михайловичу тёпленькой водицы!..

Голос Гернгросса разносился среди дворовых построек, как дневной гром, высоко и раскатисто.

Вскоре гость оказался в гостиной, где посередине стоял овальный стол с разными кушаньями. Достоевский героически выдерживал

натиск выставленных блюд – с самого обеда не брал в рот маковой росинки.

Из соседней комнаты вышла хозяйка Екатерина Осиповна, успевшая с тщательностью навести причёску, но следы глубокого сна так и не сошли с её красивого лица. От пышного тела исходил аромат дорогих французских духов.

В присутствии такой красавицы Достоевский почувствовал себя крайне неловко. Неслучайно Егорыч остановил на ней свой понимающий глаз. Но... есть в Кузнецке другая просто божественная женщина... «Главное, – думал Фёдор, – чтобы здесь с ним не случилось ЭТОГО... Боже, как бы ОНО было некстати...»

Мысли гостя прервал хозяин.

– Постуем, конечно, помаленьку, дражайший Фёдор Михайлович. Но нас, ослабших здоровьем, Бог простит. Так что кушай, пей, дорогой друг, только себе на пользу, – как бы между прочим и в то же время искренне ронял слова Андрей Родионович.

Выпили по бокалу шампанского. Достоевский с непривычки долго не мог воткнуть накрахмаленную салфетку за ворот своего унтер-офицерского мундира. С удовольствием съел пару телячьих котлеток. Погрыз исхудавшими зубами ароматное, но твёрдое яблоко, доставленное сюда южными киргизами. По привычке осторожно и незаметно сгрёб в ладонь хлебные крошки и бросил их в рот...

Было видно, что гость устал. Да и хозяйка клонилась ко сну. Просторное, породистое, с широким лбом лицо Гернгросса выглядело тоже утомлённым. Даже молодившие его широкие зачёсы от ушей-подковок почти до самых бровей на этот раз смотрелись несколько нелепо. И усы сползали по округлым щекам не так, как в былые встречи, а, будучи солидарными с поволокой глаз, выражали запоздалую грусть.

Вскоре хозяйка откланялась. Гернгросс остался наедине с Достоевским. Неожиданно взгляд хозяина стал строгим и даже напряжённым.

– Ты, Фёдор Михайлович, знай: мы тебя с Демчинским не подведём, весь грех берём на свою душу. Ехать придётся непременно прямо завтра. И никаким не инкогнито. Но и без подорожной. Лишних следов по пути оставлять нельзя. Поедешь не на почтовых, а на долгих. Мои люди нашли тебе человечка, кузнецкий он и к тому ж с коротким языком. За весь путь твой туда и назад до Барнаула заплачено. Так что считай для себя это нашим дружеским презентом.

– Я об этом и не мечтал, Андрей Родионович! А за то, что побываю в Кузнецке и увижу дорогую моему сердцу Марью Дмитриевну, вам превеликая благодарность!

...Утром у окна, где спал Достоевский, раздался перезвон поддужных колокольчиков. В дверь постучал сам хозяин.

– Доброе утро, Фёдор Михайлович! Карета подана. Стоит поторопиться. Впереди как-никак почти триста вёрст... Не меньше двух ночёвок...

И опять дальняя дорога, дорога, которая, кажется, никогда и нигде не может закончиться.

На этот раз в экипаж была впряжена тройка, лошади гнедой масти. Ожидавший у резных ворот кузнецкий кучер уловил любопытствующий взгляд Достоевского.

– Красавцы! Все от одной матки... А ну-кась пошли, милые!

Загремели в три тона поддужные колокольчики.

ГЛАВА 11

«Вот и рукой подать до милого сердца», – подумал Достоевский и громко спросил ямщика:

– Сколько вёрст до Кузнецка?

– Энто рядом, барин! Двести с махоньким гаком. А пешим ходом чуток подалее...

– Гак-то в ваших краях каков?

– То и говорю: чуток помене крюка. – И в улыбке оскалил желтоватые зубы. – Главное, чтоб недобрый человек или зверь голодный дорогу не пересекли. А так здесь не дорога – одна радость душевная...

И вполголоса затянул песню про то, как разбойник Стенька Разин выкинул из челна в волжскую пучину княжну – свою полюбовницу...

Опять пошёл счёт вёрстам от села до села, от одного поворота до другого. На этот раз Достоевский проявил упорное любопытство.

– По имени тебя как кличут, дядя? А то неудобно тыкать друг другу в большой поездке. Я вот, к примеру, Фёдор Михайлович. А ты, дружок?

– Анфилад я.

– Ну и имечко у тебя, Анфилад! Это как понимать его?

– Так батюшка с матушкой в свои времена порешили назвать меня. А с чего оно, убей не скажу! Стар я уже, барин Фёдор Михайлович. Пять десятков годков за моей спиной. Которые люди и не живут стоко... У меня два сына да два внука... Вот как богат я. Да только толку в богатстве том... У старшого хромота с самого младен-

ства. Второй тоже мало полезен: и в семье, и в государевом деле. Заикастый у меня он. Тонул в озере, вот от перепугу и пошло всё... Пока лопочет «тя-тя-тя», сам скорей догадаешься, про что хочет тебе слово сказать...

Долго ещё рассказывал Анфилад о своей никудышной жизни, о бабе своей Полине. «Кабы не она, хоть в петлю лезь!» Наконец, выговорившись, вспомнил про Стеньку Разина и, закончив унылый мотив, снова оголил жёлтые зубы.

Анфилад в отличие от прежнего возницы выглядел щёголем. На нём красовалась синяя сибирка – кафтан, сшитый в талию и без привычного разреза сзади. Сибирку украшал невысокий стоячий воротник. В такой одежде любили появляться люди торговые – купцы и лавочники, а также бывшие арестанты, повидавшие всякие виды. Из-под сибирки выглядывали полотняные шаровары тёмно-синего цвета, заправленные в сапоги из тонкой выростковой кожи. Ну а голову прикрывал картуз, сшитый из льняной ткани. Одним словом, щёголь.

Не останавливаясь, проскочили Повалиху. Деревня будто давно вымерла. Только из одного двора выскочили две узкобрюхие собачонки. Ни за что ни про что облаяли чужих людей и, поджав хвосты, забитые прошлогодним репейником, поплелись в свою подворотню.

Тройка, не в пример паре с отлётом, шла резво и без усталости, как говорят знающие люди, играючи. Проехали ещё две какие-то деревеньки. Фёдор Михайлович истомно дремал, натянув военный картуз почти на самые брови. Короткий привал устроили на опушке берёзового леса, который скатывался к безымянной речонке. Лошади с жадностью и фырканьем пили прохладную воду. Анфилад ослабил у тройки поводья, прикрепил торбу с овсом к морде коренника.

– Лошадкам в дороге, как человеку за столом, главное, не перепить! К тому ж живот должен быть впроголодь! Иначе...

Пристяжные жевали высокое разнотравье, изредка мотая то головой, то хвостом. От воды на запах свежего конского пота устремились целые орды слепней.

– Перекусим в другом месте, здесь этот гнус пожрёт нас и всю нашу живность. Нонче все хотят сожрать друг дружку.

– Оно верно, Анфилад, – согласился разомлевший седок и с размаху прищемил жирного овода, успевшего прокусить кожу на затылке. – Ведь, смотри, какая картина: не было б воды –

не было б и этой заразы. Всякой твари необходим источник жизни...

Возница помедлил с ответом, коротко потряс головой и философски откликнулся на слова, сказанные Достоевским:

– Вот у нас почтодержатель, кроме прогонных, берёт за подмазку колёс по двенадцать копеек даже с собственных экипажей, с карет и колясок. С телег и с кибиток, знамо, вдвое дешевле – по шесть. А деготь да сало – это, вишь, ему я должен представить. За что берёт, скажите? Разве я сам себе враг и не способен ступицы вовремя промазать? Ай, беда-беда...

Вёрст через десять остановились на продуваемом пригорке, съехали с тракта саженой на двадцать, не больше. От бывшего дождя не осталось и следа. Возможно, дождь вообще обошёл эти места. Пахло травами, названий которых Достоевский никогда не знал и даже не слышал. Гудели бестолковые шмели, со взятком торопились в свои колоды и борти пчёлы.

До чего же чертовски здесь хорошо! Но... нет, он ни за что б не остался в этих местах – в них отсутствует дух, который оплодотворяет его писательскую душу. Здешние места предназначены для работы рук и для отдохновения, а работу голове надо находить в других, менее приспособленных для жизни местах...

По тракту к Барнаулу во весь опор мчалась тройка гривастых лошадей. С горделивой головой шёл коренной в яблоках.

– Не мене как генерала везут или другое превосходительство, да ещё подшофе... Запалит, паразит, лошадей...

Достоевский пропустил фразу мимо ушей.

ГЛАВА 12

Дорога тянулась долго и нудно. Лошади шли резво и ровно. Приблизились к околице большого села. Остановились возле почтовой станции. Анфилад перебросился несколькими словами с отдыхающими ямщиками, выкурил с ними по цигарке из местного рубленого табака. От такого табачища у Достоевского выкручивало голову, и он старался им не пользоваться – уж очень задирист был самосад. Фёдор набил трубку «жукоским» табачком, которым его вдоволь обеспечивал Врангель. Правда, дома, в своей конуре, курил он чаще всего «Вакштаф» второго сорта, этот был крепче первого, хотя и менее ароматен. Таким табачком Достоевский начал баловать себя ещё в петербургскую пору. Табак

требовал медленного курения, иначе скрадывались все ароматные оттенки. Курился плотно, комфортно, давал нужное насыщение, но никогда не перегружал организм. Когда с Дмитрием Григоровичем снимали на двоих одну квартиру, оба курили до одури. В их комнатках почти от потолка до пола висел густой сизый дым. Все, кто попадал в жилище молодых писателей, сначала чихали, кашляли и только потом отыскивали у себя носовые платки...

Надворный советник купец первой гильдии Василий Григорьевич Жуков держал табачную фабрику в собственном доме на Фонтанке, возле Чернышёва моста. Табак выпускался по его лично разработанным рецептам из смеси семнадцати сортов «Вирджинии». После четырёхмесячной выдержки в дубовых бочках из-под французского коньяка с последующей двухмесячной выдержкой под дубовыми прессами...

Подошёл Анфилад.

– Сорокино, Фёдор Михайлович! Придётся ночевать. Туточки прошли щедрые дожди. Мокрота. Лучше переждать, а не лезть на рожон. Как считаете?

Достоевский выпустил последнее облачко голубого дыма, принялся чистить мундштук.

– У нас в батальоне делают так, как скажет командир Беликов. Сегодня ты на его месте. Не могу послушаться. Вези к будущему ночлегу. А то ещё придётся ночь куковать посередине леса...

Проехали около полуверсты вдоль пыльной улицы без единого деревца или кустика. Остановились напротив облупленной часоулицы.

– Вот тут! Мой постоялый двор у Анисьи Павловой. Я при нужде всякий раз у неё останавливаюсь...

Ночь в Сорокино прошла трудно. Достоевскому снилось, что он куда-то не поспевал, у него путались все планы, и никто не мог помочь ему выбраться из щекотливого и безысходного положения. Потом откуда-то явился отец Михаил Андреевич с Евангелием в руке...

– В сией книге начертан твой путь, сынок Фёдор! Пропадёшь, если не будешь следовать ему!

И исчез. В это время около амбара пропел хозийский петух. Достоевский открыл глаза. Солнышко золотило струю соседской избы.

Он вспомнил последний эпизод сна, перекрестился.

– Царствие тебе небесное, папенька! Вечная память!

И, увидев на столе приготовленный завтрак, стал одеваться.

Как в руку сон: и уснувшие к непогоде, и Евангелие в руке... Ещё в Омске Фёдор Михайлович в трудные минуты жизни брал в руку Евангелие и открывал его наугад. Потом внимательно читал левую страницу, ища в ней ответы на мучивший вопрос. Сегодня, правда, у него таких вопросов не было. Только бы увидеть её глаза, почувствовать губы, услышать сбивающий с ума голос...

Когда подъехали к Хмелёвке, дорога стала мокреть, лошади сбросили прежнюю прыть. По селу вела кривая малопроезжая улица – здесь накануне прошёл не просто дождь, а прокатился настоящий небесный водопад.

– Тут такое дело, Фёдор Михайлович! Мы теперь близимся к таёжке, сама-то тайга – она ещё впереди. Места эти заводнённые. Кругом болот полон рот. Хмелёвка – она и вправду хмельная девка, чего только не вытворит с нашим братом... И у речки здешней тоже имечко в лад ей. Пьянушкой в народе зовётся. Даст же Бог названьице сподобить. Ну ничего! Не впервой баба замужем. Доскребёмся до Салаира и, считай, здрасте вам! Там места пойдут опять чистые, проезжие, народом исхожены и изъезжены вдоль и поперёк. С самой весны до белых мух люди ягоды разные берут, грузди ломают. Многие этим и живут. Ну охота ещё да рыбалит кто... А землешество – оно дело тонкое, хлопотливое и не на всякую руку приходится... Вот возьми меня...

– А от Салаира до Кузнецка далеко ещё?

– Каво там далёко?! Всего-то сто тридцать вёрст! Значит, в Салаире лошади передохнут. Да и мы маненько отдышимся. Потом без спеху до Бачат доскребёмся. Там привал устроим, а в самую ночь двинем дале. Чтoб к обеду в Кузнецк поспеть... Или что не так?

Достоевский видел, что лошади давно устали. Шли неторопливым шагом, и Анфилад не пытался их понуждать... Показались берёзовые и осиновые перелески. На низинных болотах торчали сохлые стволы берёз. Кое-где прямо к дороге подходили осоковые болотца. Коричневой бахромой опоясывал их старогоний мох. По склону невысокой горы стекал редкий выгоревший ельничек. Поодаль высились почерневшие стволы крупных деревьев с вкраплениями меж ними подрастающей пихты и осины. Низовые пожары пронеслись здесь когда-то, свершив своё

пагубное дело. Не приведи Господь оказаться в такую злосчастную минуту один на один с безумной стихией!..

С грехом пополам доползли до Салаира. Дотянули и до Бачат. У Достоевского начала ныть поясница. Самое время хорошему привалу. И он уж хотел было остаться в Бачатах до утра. Но это сбивало задуманные планы. Как бы соглашаясь с мнением ездока, держался и Анфилад. Договорились, что останутся только для кратковременной передышки лошадей, а сами отдохнут вволю по прибытии на место.

ГЛАВА 13

В полночь почти незаметно менялся ландшафт местности. Поползли лёгкие взгорья, угдывалось редкое мелколесье. Когда стало светать, Достоевский увидел небольшие и средние сёла, разбросанные вдоль главной дороги. Видно было, что раньше здесь стоял добротный лес, со временем он ушёл под строительство, а вместо него теперь поднимался кучерявый молодняк.

— Едем ближе к матушке Томи. Поилица и кормилица наших мест. А то как? — красуюсь на своём сиденье, вёл разговор Анфилад. — Живём в лесу, молимся колесу...

Навстречу тянулись повозки, запряжённые одиночными лошадьми, парами и тройками. Везли на телегах, бричках избной лес, пиленое дерево, колотые дрова, вязанки прошлогодней соломы, мешки с кормом для скота, домашний скарб, мелкую живность. В ненагруженных колымагах и таратайках, жмущихся к обочинам дороги, передвигался самый простой люд. А в дорогих экипажах, рессорных пролётках в основном торопился народ служивый и небедный — кто в уездные города, кто чуть подальше, а кто и до самого губернского центра — в Томск.

Дорога покатила меж крутых перегорков. Странные места. Вода с них скатывается вниз и стоит вступенными болотами. Достоевский поморщился — топи хуже, чем в Санкт-Петербурге. Анфилад заметил молчаливое недовольство седока.

— Скоро, скоро, барин. Вон уж Араличеву проскочили. Горбуново село пошло. Щас ходу по Черноусову дадим, там через мосток — и, считай, у самого места... Речку Абой кличут по-татарски. Рыбёшка в ней добрая, особо по осени... А в пади, — ткнул возникла кнутовищем в правую сторону, — сплошь моховое болото, барин. Твёрдого места нету... Ей-богу!

Подъехали к берегу широкой реки.

— Тут тоже места хлипкие, болотина проклятая... Я прошлой осенью кобылку свою, посчитай, утопил. Хотел обмануть самого себя. Пошёл напрямик через качкую полянку... Да не вышло...

— Ну а мы как?

— Дык как-как? Ишь, с той стороны мужики паром тянут, на барабан бечеву наматывают. Народишко своей очереди уже ждёт. Нонечь долго стоять не будем, телег вроде немного. Чик-чик — и на пригорчик...

Вышло почти по сказанному. Вскоре с правого берега со скрипом причалил кособокий паром, ударившись выступом об истёртые сходни.

— Как он ещё у вас ходит? — удивлённо спросил Достоевский.

— Как-как? — с не меньшим удивлением переспросил кучер. И сам себе, а может, докучливо седоку: — Не ходит он, а плавает — деревяга она и есть деревяга, к тому ж на привязи. И не уплывёт никуда, и не потопнет. В наших краях три парома поставил Васюха Барков. Много не надерёшь с народа, но к ледоставу поболее тыщонки чистого навару в заглашник кладёт. А оно как: телега вот наша — двадцать копеек в одну сторону, скотина от пяти до десяти. С меня, как с лица отдельного, две копейки, а вы человек казённый — это у нас, Фёдор Михайлович, завсегда бесплатно. С калечных да нищих паромщики тоже ничего не берут. — И почесал обгорелое ухо. Вроде как позавидовал им, нищим и калечным...

Берег оказался даже круче, чем смотрелся с противоположной стороны. Лошади пошли внатяг. Кучер не погонял их, вместе с ними знал в этих краях каждый поворот и подъёмчик.

— Вот, вишь, слева село большое. Христорождественское. Богатое место, у реки и, считай, у самого леса... От города в трёх верстах... Хорошее село, весёлое, девок молодых больно много... Эх, сбросить бы мне годков двадцать...

А дорога всё шла и шла вверх, давая большого кругая и постепенно заворачивая вправо.

Слева лежали поля, сплошь усыпанные шароголовыми одуванчиками, дальше виднелись берёзовые колки, а за ними по растекающейся горе голубоватой пилой резал небо хвойный лес.

— Ельник? — с внутренним торжеством спросил Достоевский.

Кучер тыльной стороной ладони смахнул о лба капельки пота, повернулся к седоку, обнажив полрта неровных зубов.

— Ельник у нас в других местах, барин, а это сосняк. Молодой ещё. При тятиной памяти боль-

шой пожар тут был. Погорело дерева – о-го-го! Кто говорит – от грома, кто – от каменных углей, они из земли прямо под комель дерева на белый свет выходят... А может, поджог кто совершил... Вокруг много инородцев разных. Раньше народ настрадался от их набегов. Больше с той стороны супостат шёл. Кабы поднялись с тобой выше на Могильную гору, всё бы увидели. Там за увалом – Пеги горы. Супостат знает своё логово... Вот матушка-крепость и сдерживала его во все века... Теперь-то оно не то...

Проезжая дорога подошла вплотную к крепостным воротам с башней и церковным куполом. Высокие стены крепости, выложенные из серого плитняка, расходились в разные стороны, как усы у зарытого в землю великана.

– Вот так и охраняем государство наше российское от супостата... – взъерошил на затылке волосы возница и снова почесал набухшее ухо. – Счас маненечко вниз – и здравствуйте, господа хорошие!..

В воздухе витал тополиный пух, пахло близкой рекой и застоялой в низине водой от весеннего половодья. Проехали мимо красивой двухкупольной церкви. Достоевский сразу оценил лёгкость и красоту архитектуры храма – такие по России стоят не в каждом большом городе...

– Храм Преображенья Господня. В те века ещё начали строить, а освящали уже на моей памяти... Годков двадцать тому назад.

Пересекли небольшую площадь. Место гостю не понравилось: пыльное и неухоженное, корявое от иссохшей грязи. К площади с южной стороны выходил другой храм – более простой и более древний, чем первый. Переваливаясь по барски, дорогу пересекала стая гусей.

– Значит, барин, на ваш адресок можно заехать с любой стороны храма. Это у нас, заметьте, Одигитриевская церковь, все подгорские да и форштадтские в неё ходят. Повелось из веков... А на Каркасскую, пожалуй, отсюда, с Водопадной сподручной. – И повернул экипаж круто на дорогу влево.

Окна многих домах были отворены. У коновязи возле церкви, понуро опустив головы, стояло несколько запряжённых лошадей.

– Народ, барин, не унимается: кому-то крепиться приспичило, кому-то помереть сподобилось. Кто обвенчаться задумал... Так у нас во все века... А Вагиных я давно знаю. Я ж тут с малолетства живу, на самом краю форштадта. Каждый камень, каждый кусток изнюхал... Ну вот,

слава Богу, и хозяин наш... Примай, Фомич, сво-во гостинечка!

Степенно, отворив одно полотнище ворот, подошёл Вагин. Примеривающе, а скорее испытывающе посмотрел на прибывшего гостя. За ним высочила женщина, видимо, жена хозяина:

– Ой, Фёдор Михайлович! Мы ждали-ждали вас и все жданы съели!..

ГЛАВА 14

Мария Дмитриевна прописывала в своих письмах, что Исаевы свели знакомство с хорошим человеком Вагиным. Конюшит он при коллежском заседателе, к которому Исаева приставили в секретари. Вот к нему-то, к Вагину, она и велела обратиться Фёдору сразу по прибытии в Кузнецк. Ну а Фомич дорогу к дому Дмитриева, где поселились Исаевы, хорошо знает – живут почти рядышком...

Как ни стремилась душа в эти полудикие края, как ни хотелось покрасоваться в мундире на чужой стороне, всё равно не подкатил бы Фёдор Михайлович ни с того ни с сего в своём экипаже сразу к дому на Береговой, хоть и тянула эта непосильная любовь к женщине кручёной верёвкой... Чтоб так запросто и неожиданно для чужих глаз – нет, не позволил бы он, человек порядочный, к тому же практически без пяти минут офицер... Нет, не позволил бы подлететь к дому беспорочной вдовы и замарать имя и честь любимой женщины. Она вовсе не какая-нибудь Варенька Добросёлова, и он не какой-нибудь господин Быков, чтоб так беспардонно якшаться друг с другом. Тут Фёдор, как учили его в фортификации, очень понимал и различал дистанцию и интервал.

...Вагин Достоевскому понравился с первого взгляда. И жена его Федосья показала женщину простой и симпатичной. В этот день сам Вагин находился не при делах – коллежский секретарь занемог суставами и лежал вторую неделю в своём доме в начале Базарной улицы.

После непродолжительной беседы за чашкой чая жена Вагина ускользнула на Береговую и сообщила Марии Дмитриевне о приезде желанного человека.

В доме, построенном на две «стопы», – из тёплых сеней, совмещённых с кухней, одна дверь вела в левую комнату, вторая – в правую. Как раз в ней и предложили место Достоевскому. Дом был поставлен из пихтового сруба, снаружи успел почернеть, а тёсовая крыша в середине конька

112

заметно просела. Зато внутри изба выглядела чистой и по-деревенски уютной, особенно это чувствовалось после семипалатинской квартиры Пальшиных. Лиственничный пол был выскоблен до медового цвета, стены тоже промыты и проскоблены, аккуратно законопачен выступавший между брёвнами рыжий мох. Тщательно разложены самотканые полосатые половики – и на полу, и на лавках. Подоконники небольших оконцев размещались почти на уровне груди. На них хозяин установил вторые рамы для тепла, да так, видимо, и не удосужился снять. На подоконниках между стёкол уложены скатки из пожелтелой газетной бумаги, внутри которой был завёрнут сухой мох – предусмотрено не только для сохранения тепла, но и для того, чтобы зимой на стёклах не накапливалась сырость...

В предоставленной гостю комнате растопырилась широкая железная кровать с пуховой периной и двумя подушками – таких Фёдор Михайлович не выдывал с той поры, как покинул родительский дом в Даровом. Стол, накрытый цветастой скатертью из дешёвой материи, вызывал особое расположение: так бы и разложил на нём листы писчей бумаги... На нём два подсвечника – для трёх малых и для одной большой свечи. Вокруг стола четыре старых кривых стула, у стены небольшой комод, а у самой двери вешалка для верхней одежды – пять металлических крючков, вбитых в толстую кедровую плаху.

Комната, можно было предполагать, зимой обогревалась от выступа печи, топившейся из кухни...

Вскоре Достоевский увидел, как за окошком протемнела тень.

– Здравствуйте, люди хорошие!

Этот голос Достоевский узнал бы из тысячи, а может быть, из миллиона других голосов. Здесь он, родной, был совсем рядом и до изумления чист и близок. Фёдор бросился к двери. Навстречу шла ОНА.

Радость, боль, отчаяние – все крайние чувства перемешались разом в его душе. Руки сами по себе потянулись к Марии Дмитриевне. Он обнял её трепетное и горячее тело. Долгожданная женщина попыталась увернуться от колючей щеки Достоевского, но тот, как малый ребёнок, даже не заметил этого.

– Милая, милая... Единственная, ненаглядная моя! Ясочка ты моя!..

У Фёдора не хватало слов, чтоб высказать накопившиеся чувства. И слёзы радости выступили

в глубоких ложбинах его глаз. Он взял пальцы Марии Дмитриевны в ладонь и повёл гостью в свою комнату. Там она ухватила его мозолистые руки, прижала к себе и бесконечно обцеловывала пахнущие табаком пальцы. Сели за стол. Мария Дмитриевна ровно напротив Достоевского. Всё та же. И одновременно другая. В её тёмных волосах он увидел серебряные нити седины – результат недавно перенесённого горя. Вокруг глаз накопилась трагическая чернота, редкие извилистые морщинки. На щеках лежал румянец, который, как и ранее, украшал лицо без излишних округлостей. Тот же заострённый нос, сухие поджатые губы и не по-женски волевой подбородок.

– Как Паша? – другого вопроса Достоевский не сумел подобрать. Хотя и этот вопрос не был праздным.

– Вымахал сорванец. Его теперь трудно угомонить. Целыми днями пропадает с уличными ребятишками у протоки. Болит душа: как бы чего не случилось... Особенно после смерти Александра Ивановича. Я больше не переживу подобной беды. В моём сердце совсем истончилась ниточка надежды на будущее. Боюсь, как бы она вовсе не оборвалась...

Он продолжал гладить длинные пальцы любимой женщины. Видел, как часто вздрагивают голубые жилки на кистях её рук. Она тоже почувствовала, что Достоевский переменился. Этот незнакомый мундир унтер-офицера с голубыми погонами на плечах, не выбритые с дороги щёки и ещё более пронизывающий взгляд колючих глаз. Мария Дмитриевна боялась возможных расспросов Достоевского. Ведь Федосья могла уже сообщить и о Вергунове, и о попытках местных кумушек «пристроить» вдовую женщину к какому-нибудь хорошему человеку...

– Я пойду, – тихо произнесла Мария Дмитриевна. – Негоже мне здесь долго задерживаться, мы ж тут все на глазах. Вы, Фёдор Михайлович, друг мой, поймите меня правильно... Вы вот сегодня приехали и завтра уедете. А я останусь...

Достоевского взбесили такие слова, хотя он понимал, что в них заключена вся правда жизни. А в том, что он случайным налётом оказался в Кузнецке на Картасской улице только с одним помышлением побыть несколько часов возле любимой женщины, – это для остального мира сплошная тайна! А тайна как может быть правдой?..

Мария Дмитриевна понимала безысходность положения, в которое вогнала дальнего гостя. Поэтому продумывала каждое своё следующее

слово, стараясь подать Достоевскому малейшую надежду.

– Нет, дорогой мой, я не отказываюсь от нашей встречи. Непременно сегодня же вечером приходите ко мне. Будет смородиновый чай с вареньем. Я помню вашу любовь к крыжовнику, но ему ещё не время у нас, да и мало у кого он здесь растёт. Жимолостью угощу! К тому же с вами очень желал познакомиться хозяин нашего дома Михаил Дмитриевич Дмитриев. Если далеко не отлучился, тоже забежит на чай. Человек он начитанный, приобрёл где-то экземпляр «Отечественных записок» и бережно хранит его. Любит поговорить о литературе, о политике да и вообще о жизни.

И ушла.

Наверное, целую вечность ждал Достоевский этой встречи, а она получилась до изумления коротка и неутешительна. Теперь надо ждать, когда спадёт жара и солнце укатится за другой берег реки.

– Вы бы чего-нибудь поели? – пыталась достучаться до гостя простодушная жена Фомича. – А то поди замерли. И вроде пребываете в некотором расстройстве... Ишь и под глазами сильно поголубело...

Да, Достоевский пребывал в расстройстве, но только не в некотором, а в самом большом. Его жалила давняя мысль, захлестнувшая после одного из последних писем Марии Дмитриевны. Она писала тогда о своей худой жизни в Кузнецке, о постоянном нездоровье, о людях, которым она никогда не была нужна и будет всегда безразлична. И неожиданно, с какой-то светлой ноткой сообщила, что после смерти мужа очутилась окружённой особым вниманием со стороны учителя уездного училища, некоего Вергунова... При всём этом пусть, мол, дражайший Фёдор Михайлович не придаёт означенному факту большого значения. Вергунов – человек ещё молодой, для жизни не созревший, но к ней, правда, относится с глубоким пониманием и уважением, может быть, в душе даже больше...

– Чайку выпью обязательно! – ответил Достоевский словоохотливой хозяйке. – А вот расстройств на душе совсем не имею.

И поймал себя на том, что по меньшей мере сфальшивил, а по полному счету солгал женщине, непричастной к его печалю.

Сел за стол. Пока хозяйка раздувала самовар, издалека закинул крутящийся на языке впрос.

– Вергунов, ваш учитель – он как, серьёзный человек?

– Года три назад из Томска прислали. К делу, говорят, человек прилежный, несмотря на свои годы. Молод – это точно. Это ж сколько надо пожить на свете, чтоб ума набраться... Токо неподъёмное дело взять на себя пытается. Не по себе дерево рубит. Я такое дело по-женски не одобряю...

И закончила своё толкование. А Достоевский посчитал дурным тоном наводить о Вергунове дополнительные справки. Хотя его так и распирало узнать, какое же неподъёмное дело имела в виду хозяйка.

Фёдор понимал, что Федосья не захотела выдавать какие-то подробности о кузнецком учителе. А может быть, вся эта возня вокруг него – только нелепое воображение Достоевского?..

Но он определённо был не в духе. И в это время показался бы со стороны старым и большим человеком. Достоевский пощипывал жидкую русую бородку, кусал то один, то второй ус, при этом лицо его нервно передёргивалось. Так он всегда переносил крайнее волнение...

Наконец жара пошла на спад. От реки потянуло воздухом, пропитанным речной сыростью. Поникие было за день листья одиноких деревьев набухли, выпрямились, испуская свой несильный, но живительный аромат.

– Вам, Фёдор Михайлович, лучше от нас идти прямо на Береговую. По Блиновскому проулку, храм станет по правую руку, а там чуток влево – и дом Дмитриевых. Их двор всякая собака у нас знает. Александру Ивановичу, царствие ему небесное, хозяин сдавал комнаты за полцены. А как упокоился кормилец, он вроде с вдовы ни рубля не взял... И чё взять с бедного человека с малым ребёнком на руках... Кто его без родителей на ноги поставит?..

И перекрестилась: «Прости, Господи, и сохрани нас грешных!».

ГЛАВА 15

Паша получил своё: кулёк леденцов и вязанку сладких крендельков, которые привезли в Семипалатинск из Омска перед самым отъездом Достоевского. Марии Дмитриевне достались тёплые домашние бурочки для зимы, сшитые на манер южнорусских черевичек давним солдатским другом Кацем по просьбе Фёдора Михайловича. Бурочки вышли просторные, прострочены в ровную клеточку и устланы внутри меховой стелькой.

Хозяйке подарок понравился. Она его несколько раз примерила, постоянно приговаривая: «К чему же траты такие, к чему, Фёдор Михайлович? Ну к чему?».

Потом троём сели пить чай. Паша набрал за паузу с десяток крендельков и бочком улизнул от взрослых на улицу.

Мария Дмитриева смотрит внимательно и настороженно, пытаясь коснуться недостижимого дна глаз долгожданного гостя. Жила ожиданиями этого часа много месяцев. Сколько слёз пролито за прошедшее время! А он такой же смятенно-потупившийся, только не в солдатской потной рубашке, а в настоящем мундире с начищенными до блеска пуговицами. Столько надо и хочется переговорить, но во рту язык будто присох...

Достоевский никак не может превозмочь своё волнение. Сидит, хмурится, чего-то выжидает. Тысячи раз вспоминал минуты их давней разлуки, неисчислимое количество ласковых слов отослал почтой в Кузнецк... А вот наступила минута встречи, и он, как не выучивший урок школьник, всё пытается выкарабкаться из сложившегося положения...

Глянул на обстановку. Не шикарно, одна тоска. Всё не своё, хозяйское: лапчатые кресла, старые картинки с изображением свадьбы и охоты на волков. В кадках и горшках большелистые фикусы и фуксии с овальными зазубренными листочками.

– Марья Дмитриевна, милая Маша!.. – начал Достоевский.

У него в голове запасено много слов, которые в таких случаях говорят любящие друг друга люди. Но все эти слова сейчас для него пустота, сор.

– Мне тоже было очень плохо, родной мой Фёдор Михайлович! Я не знаю, как осталась жива... – перебивает Мария Дмитриевна.

Достоевский вскакивает, чуть не пролив стакан с остывающим чаем. В порыве обходит стол, обхватывает ладонями плечи Марии Дмитриевны. Но она резко поднимается, уклоняясь от его объятий.

– Не надо. Прошу, не надо!

– Это всё из-за ЕГО любви к тебе? – вскипает Фёдор.

– Зачем же так?

Достоевский, медленно гася в себе накаливший порыв, пятится и садится на свой стул. Несколько минут длится молчание. И снова заговорила она.

– Я никого так не ждала, как вас, мой милый и любимый Фёдор Михайлович! Но вдруг поня-

ла, что буду обременять вашу и без того полуманную жизнь... Да и была бы я одна... За мной ещё хлопотное приданое: малолетний ребёнок. Я твёрдо пришла к выводу, что не хочу и не могу принести вам одни несчастья...

Достоевский не ожидал предательских слов от Марии Дмитриевны. Почти закричал с сиплым надрывом.

– Я любил и люблю вас каждой клеточкой моего тела. Если вы не примете эту любовь, знайте: мне нечего делать на этом свете!

– Вы напрасно так убиваетесь! – взмолилась Мария Дмитриевна.

Она увидела, как побелело и без того бледное лицо Фёдора Михайловича.

В комнату влетел Паша:

– Маменька, я возьму ещё крендельков?

Когда мальчик скрылся в сенях, Достоевский, словно приминая, утяжеляя каждое слово, произнёс с тихой горечью:

– Всё дело в НЁМ? В Вергунове? Да?

Мария Дмитриевна не ожидала прямого вопроса. Она смешалась, вздрогнула, подошла к потускневшему зеркалу, висевшему в простенке между окнами. Стряхнула в волнении невидимую пыль с плеча домашней кацавейки.

– Вы неправы, Фёдор Михайлович! Совсем неправы, дорогой мой! И это ещё больше ставит меня в неудобное положение...

Они говорили долго. У обоих не было сил спорить, доказывать свою правоту. Комнату заполнял вечерний сумрак. В конце концов вышли за ограду дома Дмитриева. Закат истлевал.

– Я должен завтра же, Марья Дмитриевна, ехать обратно. У меня вид только до Барнаула. Меня, как малость, ждёт гауптвахта.

– Нет. Это жестоко! Вы ни за что не поступите со мной так! Мы завтра пойдём на могилу Александра Ивановича. – Помолчала и добавила: – Пойдём троём: вы, я и Николай Борисович Вергунов.

ГЛАВА 16

Заканчивалось погожее июньское утро. Солнцу было далеко до зенита, но свет уже слепил глаза и плавился на мелкой листве чахлах кустов акации.

Троём медленно поднимались по дощатому тротуару Базарной улицы. В переулках тротуар прерывался. Под ногами шкрябали мелкие камешки, на обувь оседала серая, многократно пересохшая пыль. Встречный народ с любопытством рассматривал немолодого заезжего ун-

115

тер-офицера с тремя белыми полосками на голубых погонах, кое-кто из учтивых граждан здоровался. Исаева и Вергунов отвечали по-разному. Одних они давно и близко знали, с другими было шапочное знакомство, третьих видели впервые... Версты через полторы свернули влево, к подножию пологой горы.

Молча обошли невысокое каменное здание, украшавшее уходящее вдаль кладбище.

– Наша Успенская церковь, – пояснил Вергунов, пытаясь напомнить о своём присутствии.

Достоевский и Исаева промолчали. Наконец голос подал Фёдор Михайлович.

– Это и есть Могильная гора? – спросил Достоевский.

– А вам откуда известны такие мелочи? – вопросом на вопрос ответил Вергунов.

– Это не мелочи, а тонкости, – сердито поправил попутчика Достоевский. – В жизни мелочей не бывает.

Было заметно, что Вергунов не собирается сдаваться.

– Здесь начинается подножие горы, а сама гора выше...

Слова Вергунова и вообще его неуместное присутствие в этой компании – всё вместе не давало покоя Достоевскому. Уж точно: третий лишний. Но он в то же время понимал, что Вергунов сейчас – всего лишь палочка-выручалочка. Только в такой компании удобнее всего появиться Исаевой на могиле своего супруга. Фёдор завтра при любой непогоде отбудет отсюда, а она останется одна. Придётся расхлёбывать всё в одиночку...

За оградой из кованных металлических прутьев, вделанных в кирпичные столбы с овальным покрытием из жести, располагались захоронения. По обеим сторонам кладбищенской дороги высились преимущественно надгробия из дорогого камня и чугунного литья – всё доставлено с уральских и местных каменоломен, а также с Гурьевского железодобывающего завода. Больше всего было крестов из чёрного мрамора и могильных плит из дикого камня. Достоевский мельком бросал взгляд на самодельные эпитафии, не дочитывая их до конца. Складывалось впечатление, что по обе стороны от неширокой дороги выстроились ряды важных городских особ, их родственников и приближённых. Покоились городские начальники, купцы, церковные пастыри, все со своими семьями – с родителями, супружницами и детьми, родителями дражайших супругов. Повсюду около могил раз-

рослись посаженные по скорбному случаю дерева. Обилие лесной зелени поразило гостя: кедры, сосны, берёзы, кусты рябины, черёмухи и сирени – такого не увидишь даже в Петербурге, а тем более в Семипалатинске...

Александр Иванович покоился в дальнем краю кладбища. Могилы здесь походили одна на другую. И деревянные кресты торчали без большого разнообразия – отличались только степенью серости, которая остаётся на дереве после дождей и сибирских зим.

Могильный холмик Исаева был ухожен, сорная трава на нём вырвана с корнем. На разрыленной поверхности земли стояла фарфоровая вазочка с водой, где находились поникшие соцветия гераньки.

– Ну вот и встретились ещё раз... – перекрестился Достоевский. – Царствие тебе небесное, Александр Иванович!

И в бесщётный раз почувствовал свою вину перед покойным, ведь это он оказался пригретой змеей, подлым человечешкой, возлюбившим жену ближнего...

– Прости нас, Боже, за грехи наши! – ещё раз перекрестился Фёдор. – И ты, друг мой земной, не вини за всё содеянное...

Достоевскому было не по душе, что рядом с ним стоит учитель Вергунов, бесцеремонно вклинившийся в его давние отношения с Марией Дмитриевной, да и с самим Исаевым.

«Вергунов... Ввергунов... ввергся в мою душу», – усиленно думал Достоевский, и его начало знобить под палящим солнцем.

Он даже машинально попытался надеть фуражку, но вспомнил, что это было бы святотатством у могилы знакомого человека. Мария Дмитриевна добавила в вазочку свежих цветков – голубые медунки, сорванные у забора своего огорода. Долила из графина воды.

– Теперь у тебя лёгкие сны... – разминая меж пальцев комочки земли, повторяла она. Словно с живым, разговаривала с упокоившимся супругом.

Паша появился неожиданно, оббежав несколько захоронений. В руке держал два петушка и горстку мелких конфеток «в подушечку».

– Ты пожелал им царствия небесного, сынок?

– Да, маменька! Как ты всегда велишь, – ответил мальчик.

Николай молча переступал с ноги на ногу – то ли чувствовал полную непричастность к происходящему, то ли не мог уяснить роль своего пребывания в такой компании.

Когда возвращались, Достоевский сказал, что надо бы сподобить Александра Ивановича надгробием. Заслужил человек о себе память не на срок жизни деревянного креста. Неожиданно и участливо голос подал Вергунов.

– Марья Дмитриевна знает: есть у нас намерение уложить Александру Ивановичу чугунную плиту. К осени, пожалуй, обернёмся. Вас бы очень просили, Фёдор Михайлович, дать надлежащий текст. Лучше вас никто этого не придумает...

– Я подумаю, – и неожиданно для себя добавил: – Я сделаю это...

ГЛАВА 17

Степной ветер выдувал тепло из ветхих и старых помещений. Печки пожирали десятки возов дров, привезённых из ближайшего леса. Но не хватало людей, не хватало лошадей. Повозки для дров быстро выходили из строя. Солдаты за территорией гарнизона работали кое-как. В складах в любой час шаром покати – отсутствовал не только корм для лошадей, но и не хватало провианта, необходимого батальону в ближайшие три дня... Потому пищу на стол часто выставляли малопригодной. Многие из солдат страдали болезнями, большей частью хроническими. На весь батальон имелся один-единственный фельдшер, и тот сутками валялся под видом больного в приёмной комнате, употребив в начале дня некую долю неразведённого спирта. На заготовку дров снимали всех караульных, кто днём должен был стоять на посту. В казармах, несмотря на жесточайшие требования начальства, пол был не только грязным, но и превратившимся в настоящий коток. Разлитая случайно вода или пролитый чай в ту же минуту превращались в голымый лёд.

В моменты, когда батальон находился на грани полного краха, начальство посылало за офицерами, которым из-за болезни был прописан домашний режим. За Достоевским чаще других прибегал запыхавшийся сослуживец Наум Кац, портной из Пермской губернии. Он был самым молодым в первой роте и состоял с Достоевским в относительно близких, можно сказать, дружеских отношениях – с первых дней появления того в казарме купил на двоих самовар, латал старшему товарищу износившуюся одежду, делился кое-какой едой и семейными секретами...

Семипалатинск оказался городом не семи палат, а семи ветров, причём здесь всегда ощущалось, что ветер дует с той стороны, куда по-

вернёшься. С собой ветер обычно нёс тонкую песчаную пыль, которой на сотни, а то и тысячи вёрст были перенасыщены киргизские степи.

Первое впечатление Достоевского от Семипалатинска было такое: беспорядочная куча дерновых и глиняных домов из сырцового кирпича и мазаных хат, крытых тем же дерном или камышом... И за ними кругом до горизонта только глинистая солонцеватая степь.

В городе была одноминаретная мечеть для магометан и единственная каменная церковь, где проводил обряды православный люд. Правда на кладбище, недалеко от которого потом поселился Достоевский, стояла ещё малоухоженная часовенка... Внутри неё на прогнутых полках лежали и стояли потрёпанные церковные книги, ветхие иконы и заплывшие воском лампадки, принесённые в разное время богомольцами.

Маленькие, приземистые, вросшие почти наполовину в землю домишки, обнесённые бревенчатой оградой, лепились один около другого. Из кривых подворотен без перерыва лаяли и выли своры голодных собак. По ночам на улице не увидишь ни одного человека, во всей округе, кроме территории военного гарнизона, не было сторожей и фонарных столбов. Только в слабом свете от ночного неба шныряли осторожные собачьи тени...

Костяк местного гарнизона составлял сибирский особый 7-й линейный батальон, который располагался вдоль высокого правого берега Иртыша. Собственно, он и представлял собой основу города с крепостью. С южной стороны расположилась самая большая – Татарская – слобода, с других сторон находились более мелкие слободки. Тут же размещались присутственные места, галантерейный магазин, казённая аптека и меновой двор. На территории гарнизона находились казармы, учебно-смотровой плац, батальонное казначейство с собственным денежным ящиком, тюрьма, гауптвахта, госпиталь, штабное помещение, амбар с казённой извёсткой и другие служебные постройки, а также размещалась конная казачья кавалерия. Нигде не было ни одного тротуара, ни единого клочка мощёной дороги.

Интеллигентное общество состояло из двух десятков офицеров да заседателей окружного приказа. Ещё был православный священник, мулла и полуграмотный учитель, умевший писать и считать до ста. А некоторые, вроде начальника Сибирского таможенного округа – известного гордеца и, по сути, надутого индюка

Ивана Армстронга, вообще игнорировали местный свет, замкнувшись в семейной скорлупке... В город один раз в неделю приходило менее десятка газет.

Жалованья хватало лишь на то, чтоб сводить концы с концами. Так, штабс-капитан Головачёв получал триста восемнадцать рублей в год, а два воза дров для согрева съёмной квартиры зимой обходились ему в девять рублей. Причём детишки у него постоянно мёрзли, и не было того дня, чтобы они вылезли из болезней...

Питался народ в городе, можно сказать, подножным кормом. У кого-то был крохотный огород, кто-то держал козу, кур. Хуже других кормились солдаты. Если селянин потреблял хлеба в среднем около трёх фунтов в день, то на одного солдатика приходилось и того меньше. Хлеб часто заменяли прогорклыми ржаными сухарями. Суп повара готовили из квашеной капусты, добавляли в него репу и горох. Свежего мяса никто на столе не видывал, если оно и появлялось, то исключительно в виде кусков залежалой солонины... Не зря Достоевский в кругу близких людей прозвал этот малопригодный для жизни город Семипроклятинском!

Лето в Семипалатинске стояло обычно длинное и горячее. С вечерним ароматом степных трав на зубах скрипела тончайшая песчаная пыль. Она заполняла всё жизненное пространство, все свободные поры – в любое время года серым налетом лежала на мебели, на подоконниках, в одежде, в белье, в подушках, на поверхности и в стволах винтовок, на что постоянно обращало внимание строгое начальство...

В конце октября пятьдесят четвёртого пробежали слухи, что в Семипалатинске должен появиться новый стряпчий по уголовным и гражданским делам. Из самого Петербурга! В городе часто менялось гражданское, реже военное начальство. Но приезжий народ долго не задерживался в этом Богом позабытом городишке. Одни ждали повышения по службе, другие старались умотать в более благополучный Барнаул или в губернский центр Томск, ну а кто-то попросту спивался, и ему была предопределена недолгая дорога на земле...

В холодный день двадцать четвёртого ноября прикатил из Омска экипаж с Врангелем.

Не прошло и суток, как дежурный ефрейтор толкнул Достоевского в бок:

– Давай побыстрей! Тебя хочут видеть сам господин прокурор.

Солдат Достоевский вытянулся перед ефрейтором:

– В чём вина моя?

– Вот от него и узнаешь! – и, завернув один ус под самую мочку уха, с ухмылкой добавил: – Для важного разговора вызывают тебя, а не меня... А это главное!

Перед дверью большого начальника Достоевский трижды перекрестился:

– Заступись, Господи!..

В голове пронеслось всё лихолетье. Даже вкралась мысль: «А не передумали ли там, в Петербурге, в отношении меня? И не придётся ли после выяснения вновь открывшихся обстоятельств возвращаться на омские нары или двигаться в ещё более проклятое место?»

Открыл дверь.

– Штрафной солдат седьмого линейного батальона...

Из-за стола быстро поднялся высокий молодой человек с чёрной и густой шевелюрой – крупная волна волос от пробора направо. Лицо загущено короткой бородкой и широкими усами, сливающимися с пышными бакенбардами на светлом чуть-чуть обветренном лице. Тёмные брови и красивые выразительные глаза. Человек подошёл вплотную к Достоевскому и неожиданно обнял его, как старого знакомого.

Достоевский опешил, сконфузился, попытался закончить рапорт о своём прибытии, но хозяин кабинета добродушно произнёс:

– Да полноте, мил человек! Вот вы какой, Фёдор Михайлович! Дайте мне вашу руку! Я пожму её и передам привет от всего любящего вас Петербурга... От ваших поклонников, друзей и близких. Вот вам подарки и личное письмо от брата Михаила Михайловича. Он всей семьёй провожал меня перед отъездом в Сибирь. Кланялся и обнимал!

– Я наслышан о вас, Александр Егорович!.. Большое спасибо!

– Что вы! Это вам спасибо, я и не мечтал встретить такую личность на своём пути. Особенно вдали от родных людей и мест...

Достоевский глазами пожирал листы бумаги, мелко исписанной самым близким на свете человеком – старшим братом Мишей. Фёдор почти четыре года не получал от него ни одной живой весточки. А теперь увидел до боли знакомый почерк. Михаил стоял перед ним как живой: невысокого роста, худощав, с несколько впалой грудью, лицо продолговатое, умное, красивое, осо-

бенно тёмно-голубые выразительные глаза. Лицо в отличие от лица Фёдора слегка смуглое и на голове длинные каштановые волосы...

– Да вы, Фёдор Михайлович, садитесь в кресло! В ногах нет правды!

У Достоевского чуть не сорвалось с языка: «Её нигде нет, господин Врангель!», но он вовремя остановил себя. И сел в предложенное кресло. А новый стряпчий внимательно рассматривал лицо оказавшегося перед ним человека.

Совершенно не таким он представлял Достоевского раньше. Совсем не высок. И сутулые узкие плечи, и плоская, почти впалая грудь. Взгляд тёмных глаз угрюм и жгуч. Кончики губ запрятыны во втянутых щеках, покрытых рыжеватой щетиной...

Не стыдясь чужого человека, Достоевский плакал. Плакал, как глубоко обиженный ребёнок. Он иногда всхлипывал, голос его перехватывало внутреннее рыдание. С ним такого не было даже после того, как на Сенной площади смертникам зачитали указ Государя о помиловании и их развели по своим камерам.

Врангель тоже запомнил те драматические минуты в Петербурге. Им, будущим выпускникам-юристам Александровского лицея, приказали присутствовать при совершении смертной казни политических преступников...

Наконец Достоевский почти успокоился, пальцами смахивал остатки слёз и молчал. Чтобы разрядить напряжение, Врангель предложил выпить по бокалу шампанского за встречу и хорошее будущее.

– Я не пью почти пять лет. Если настанет добрый час в моей жизни, я выпью обязательно.

– Тогда выпью я! За нашу дружбу и за прекрасное будущее! Уверен: следующий, пятидесятый год станет для нас удачным.

Достоевский принял петербургские подарки, связанные в один большой узел, – книги, бельё, табак, чай. Поднял красный воротник серой шинели, натянул по самые брови фуражку и отправился в казарму...

Слухи о том, что новый прокурор лично знаком с Достоевским и у них сложились особые дружеские отношения, дошли и до командира батальона. Достоевский заметил, что его перестали посылать на дальние посты и почти не направляли на охрану батальонного казначейства и к лазарету. А о заготовке дров он вообще забыл. Начальство, зная о его подлой болезни, давало ему самые простые поручения. Оно бы по-

прежнему выжимало из солдата последние силы, если бы не этот случайный приезд Врангеля в Семипалатинск...

Всё складывалось удачно. Мешал Достоевскому только узел, туго завязанный с семейством Исаевых...

ГЛАВА 18

– Служивый, ненароком помочь не сможешь?

Достоевский вздрогнул, резко повернулся. Под апрельским солнцем увидел среднего роста мужчину, как и он сам. Мужчина был явно навеселе. Красивый, чернявый, на вид не более сорока лет.

Фёдор видел его здесь не раз и знал, что фамилия этого человека Исаев, и захаживает он не только к малорослому подполковнику Беликову, но и к заведующему провиантским складом Ордынскому. Дело было у них нехитрое и решалось быстро, чаи они долго не гоняли, душевных разговоров тоже не вели. Наскоро принимали по паре шкаликов горькой. И в разные стороны... Хозяевам – это что гусю вода, а Исаева сразу тащило в стороны и через несколько минут буквально сметало с ног. Так уж был устроен этот больной человек. Говорили, что он до последнего года сидел на хорошем месте чиновника особых поручений при начальнике Сибирского таможенного округа Армстронге. Но начальнику не пришёлся по душе, между ними проскочила чёрная кошка. Может быть, поэтому, а может, по другой причине Исаев стал всё чаще заглядывать в рюмку... Почти всё жалование до копеечки он пропивал, хотя имел на руках нездоровую жену и восьмилетнего сына.

В один из злосчастных дней Исаев напился в присутственном месте до такой степени, что пришлось вызывать солдат из нестроевой роты и в непотребном виде везти его на телеге домой. Молодая жена Исаева была от неожиданного визита в смятении и ужасе. Но через несколько дней эти чувства в ней возросли вдвое – муж получил уведомление о том, что он отстранён от своей должности. И, конечно, по такому случаю Исаев снова напился до скотского состояния... Теперь, находясь в отставке, безрезультатно хлопотал о назначении на новое место. Сегодня, как заметил Фёдор, Исаев вышел «навеселях» из дома Беликова.

– Чем подсобить могу, любезный? Груз какой или ещё чего?

Исаев неожиданно качнулся, прочертив правым виском по боковине дежурного помещения, но всё же успел зацепиться за угол строения и медленно попросил:

– Проводи меня, брат, до дому. Один не домарширую. Вон туда, видишь, где тучка...

Достоевский слышал, что семья Исаевых живёт в Верхней слободке, в полуверсте от этого места. Фёдор не любил закоренелых пропойц. Но робкое, уважительное обращение Исаева к нему поколебало брезгливые чувства.

У порога дома их встретила черноволосая женщина, лет около тридцати, волосы на затылке уложены улиткой. В доброжелательном взгляде – пылкий ум. Движения грациозны, непривычны для местного глаза.

– Спасибо вам за всё! Может быть, чайку выпьете? – грудной голос женщины прокатился по душе Достоевского, как наканифоленный смычок по настроенной струне.

– Не буду беспокоить вас сегодня. А в другой день забегу непременно, если вам будет угодно...

– Угодно, угодно! К нам мало хороших людей заходит. У Александра Ивановича порастерялись друзья, а у меня какая здесь дружба... Вот с сыном и занимаюсь.

На пороге дома появилась фигура мальчика лет восьми.

– Здравствуйте! А я – Паша, – сказал он кротко с манерами, которые не встретишь в здешнем городе у других детей.

– Дети умнее родителей пошли! – улыбнулась хозяйка и добавила: – Меня зовут Марией Дмитриевной, я южанка, с Каспия. В Сибири как жена сосланного декабриста. Только Александр Иванович у нас вовсе не декабрист...

Видно было, что упоминание о муже оказалось для неё неприятным. И Достоевский, слегка наморщив лоб, прервал её.

– И я не декабрист. Но мне радостно было встретить здесь вас. Фамилия моя Достоевский, зовут Фёдором, по батюшке Михайлович.

Мария Дмитриевна внутренне напряглась, скулы на щеках налились ярким румянцем.

– Так вы тот самый Достоевский? – И она окликнула сына: – Павлик, Павлик, иди сюда! У нас сам писатель Достоевский!.. Я, честное слово, знаю вас давно... Как же! Эти «Бедные люди»... И наши слёзы с сёстрами и подругами над единственным экземпляром «Отечественных записок». Потом докатились слухи, что некто писатель Достоевский несёт солдатскую службу в

нашем батальоне. Я не придавала особого значения тогда. Извините, Фёдор Михайлович! Теперь мы перед вами в большом долгу. Скажу мужу, чтобы он пригласил вас завтра на вечерний чай...

Все эти минуты, пока говорила Мария Дмитриевна, он не мог прогнать от себя мысли: до чего же прелестна эта женщина! Слушать её – одно удовольствие, любоваться – другое.

На следующий день после обеда Исаев как бы случайно встретил Достоевского около казармы. Взял по-свойски за пуговицу.

– Слушайте, писатель, мне Машенька всё рассказала. Прошу прощения за вчерашнее визави! Для искупления вины приглашаю вечером к нашему скромному столу.

– Но я же человек подневольный... Я не могу просто так...

– Мы с Беликовым в старой дружбе. Он дал согласие бывать вам у меня. Заодно дадите уроки словесности моему сыну...

– Если так, то у меня возражений нет.

ГЛАВА 19

От водочки Достоевский отказался наотрез. Налитую стопку опорожнил одним махом Александр Иванович и, похлопав гостя по плечу, заговорщически шепнул:

– Наведаюсь, брат, к своим ребятам.

Хозяйка осуждающе посмотрела на мужа. На полу попыхивал самовар, повидавший много дорог. В тарелочках лежали пироги с яйцом и луком, отдельно два куса комкового сахара, тут же к нему щипчики.

– Сахар, Фёдор Михайлович, кладите по вкусу... – и, вспомнив что-то важное: – Как же я, чумная, про варенье совсем забыла...

Гостю бросилось в глаза то, как бедно и в то же время со вкусом обставлена комната. Но больше всего заинтересовала сама Мария Дмитриевна.

Она разлила кипятком в пиалы, которые, по её беглому сообщению, Исаевы привезли из Петропавловска, поставила на круглую дощечку заварной чайник.

– Сколько пожелаете – добавляйте! Сибиряки много пьют чаю... Ой, да какой вы сибиряк! Вы же человек столичный...

– В столицах у нас тоже любят почаёвничать... И в Москве, и в Санкт-Петербурге.

А сам не отводил взгляда с тёмных, словно притомившихся глаз Марии Дмитриевны. В какое-то мгновение он поймал себя на том, что вёл не-

значаций, машинальный разговор, а всё его внимание сосредоточилось на женщине, которую он совершенно случайно открыл для себя.

Мария Дмитриевна тоже, показалось Достоевскому, заинтересовалась им. Причём шла какая-то неизвестная ему игра. Он рассматривал её широкий лоб под нависшей прядью густых волос. И она как бы в ответ на это внимательно рассматривала его крутой лоб, покрытый еле заметными веснушками. Её взгляд касался тонких зачёсов почти бесцветных, выгоревших под весенним солнцем волос и спускался ниже к таким же полинялым бровям...

Тут их взгляды встретились и, как два озорных ребёнка, слегка задев друг друга, снова разбежались...

– А я вот привыкла к настоящему югу, Фёдор Михайлович. – Глаза Марии Дмитриевны изливали свет заходящего южного солнца. – Я родом из самой Астрахани...

– Это очень любопытно. Расскажите об Астрахани. Я-то человек средней полосы России. Знаю хорошо Подмоскovie, Петербург. Теперь вот узнал Сибирь. А ваши края мне неведомы...

Мария Дмитриевна поправила складки на коленях платья, вздохнула.

– Что сказать... Устье Волги, недалеко Каспийское море. Помню, как впервые увидела бурлаков. Тянули баржу против течения. Тяжёлый осадок на душе до сих пор...

Достоевскому передалась эмоциональность, почти экзальтированность речи Марии Дмитриевны. Волнение, возникшее с памятью о годах её детства, снова вылилось в яркий румянец на её бледных щеках...

– Видите ли, по папе я француженка. До мужества с Александром Ивановичем носила фамилию Констант. Фамилия моих предков широко известна во Франции. А двое моих кузенов даже дружат с писателем Александром Дюма...

– Неужели с самим Дюма?

Достоевский больше любил других известных французов: Оноре де Бальзака, Жорж Санд, Виктора Гюго.

– Дед мой был капитаном королевских мушкетёров. Дюма дал своему де Тревиллю много черт моего деда... Папа женился на русской женщине и вступил в российское подданство. Вскоре родилась я, через год – сестра Соня, ещё через год – Вера. У них свои жизни, обе прошли институт благородных девиц. А я вот теперь застряла с семьёй здесь... Как видите, ничего необычного...

– Вы, Марья Дмитриевна, великолепный рассказчик! Готов слушать ваш голос бесконечно.

Исаева смутилась, замешкалась. Но тут же подвинула тарелку с пирогами ближе к гостю.

– Вы кушайте, кушайте, Фёдор Михайлович! Не стесняйтесь, в батальоне известно чем кормят...

И она с нескрываемой скорбью поглядела в глаза Достоевского. Ему почудилось, что этот взгляд царапнул саму душу. До настоящей боли.

Хозяйка заметила растерянность гостя и ждала, когда он придёт в себя. Наконец, Достоевский потер пальцем лоб – как бы стараясь вспомнить что-то важное. И уже с явным любопытством спросил:

– Вы с Александром Ивановичем, выходит, знакомы ещё по Астрахани?

– Да, так. Папу в тридцать восьмом назначили директором карантинного дома. Через год меня выдали замуж. Брак обещал быть удачным со всех сторон: небольшой капитал, достаточный для семейного комфорта, перспективная карьера молодого мужа – чиновник особых поручений начальника Астраханского таможенного округа. А потом вдруг Сибирского... Вы догадываетесь, что это вовсе не повышение... Сначала Петропавловск, теперь Семипалатинск, а дальше я не представляю свою жизнь. У Саши, то есть у Александра Ивановича, золотое сердце, он хороший муж и отец... Только бы не эта проклятая водка. Она его до добра не доведёт... А у нас же ещё ребёнок!..

Больше за весь вечер Исаева не вспоминала о муже. Было видно, что главное сказала, а выкладывать детали своей жизни перед чужим человеком ей не хотелось. Достоевский понял и то, чего не договаривала хозяйка: семейный воз тянет только она одна. Выбивается из последних сил, но тащит без всякой помощи со стороны.

Фёдор Михайлович проникновенно слушал исповедь женщины и постоянно смотрел на её пальцы, на голубую вязь вокруг суставов каждого из пальцев... Иногда он вскидывал взор к её глазам и видел, как бесплотные существа зажигают в них крохотные костерки. Одни разгорались, другие вскоре гасли. Неожиданное внимание гостя к себе заметила и Мария Дмитриевна.

– Чай остыл, Фёдор Михайлович. А вы не положили ни одного кусочка сахара... Давайте я разведу самовар...

Достоевский торопливо соскочил со стула, бросился к самовару, стоявшему на деревянном поддоне около русской печи.

– В нём ещё сохранился жар.

Он взял лежащий вблизи изрядно подержанный сапог. Приставил раструб голенища к концу трубы, выступающей из самовара, и стал нагнетать в него воздух. Наконец смахнул со лба пот: слава Богу, раскошегарил миленького!

– Я, Марья Дмитриевна, кроме писательского труда, и в других многих делах знаю толк. Ну а с самоварами, как с несмыслёными детьми, приходилось водиться у себя в деревне. Знаю почти всех наших мастеров самоварного дела. И тех, что поныне живут в Заречье и Туле, и тех, что разъехались по России, но не растеряли своего ремесла. Могу узнать по клеймам лучших мастеровых, Баташевых, Лисицыных, Ломовых, Дубинина, Попова из Вятки, Ермолина из Костромы... Даже помню их награды, полученные на знаменитых выставках России и Европы...

Достоевский приставил жестяную трубу в форме буквы «г» к дымовой трубе самовара, другой конец воткнул в отверстие, уходящее в дымоход печи...

Мария Дмитриевна с восторгом смотрела, как усердствовал около пузатого самовара гость. Это ж какая невидаль: известный в России писатель добывал в её доме огонь!

У крыльца послышалась возня, шум, громкие мужские голоса. Исаева насторожилась, предчувствуя худой оборот событий. В комнату влетел Паша.

– Мам, мам, а папенька опять напился... Дядьки его ведут до постели...

– Простите меня, Фёдор Михайлович! Такой получился поганый день!.. – и, сжав губы, проговорила по-французски: – Oh mon Dieu! Comment stupide! Comment honteux!

Достоевский дословно понял, что сказала Исаева: «О Боже! Как глупо! Как стыдно!».

В комнату не то внесли, не то втащили хозяйна квартиры. Голова его низко болталась, а пальцы рук бороздили по доскам пола. Исаев пытался вымолвить какое-то слово. Но захлёбывался, будто ему в рот затолкали сваренное вкрутую куриное яйцо – ни проглотить, ни выплюнуть...

Двое мужиков внесли Исаева в горенку, кое-как стащили с ног сапоги, раздели и свалили в кровать... Хозяйка не шелохнулась и, пока в доме находились чужие люди, не произнесла ни единого слова.

Когда мужики скрылись за порогом, она опустила скрещенные на груди руки и скорбно произнесла:

– Вот так, поверьте, почти каждый день...

– Я только могу посочувствовать, Марья Дмитриевна! Но в остальном, вы понимаете, я беспомощен...

Через несколько дней Достоевский снова наткнулся на Исаева. Тот, как ни в чём не бывало, не спуская с лица улыбки, набросился на солдата:

– Ты что ж, Михалыч, уговор наш забыл? Обещал сыну уроки давать, а сам в кусты... Я ж тебе толкую: с Беликовым договорились.

ГЛАВА 20

Ух, этот Врангель! Не человек, а какой-то заводной механизм! Мало того, что в должностной работе погряз по самые уши, так ещё занялся всякой ерундой: по вечерам семена растений перебирает, читает книжки про корнеплоды и другие растения. Заказал древесные и кустарниковые саженцы, какие-то луковицы цветов... Лучше всего, считал Фёдор, не мешать задуманным делам друга.

Александр Егорович как-то раз побывал «на чае» у Достоевского в доме Пальшиных. И всё. В следующий раз наотрез отказался.

– Далековато живёте, Фёдор Михайлович! Прощу в другие разы гонять чай у меня.

Достоевский отнёс прозрачный намёк на неуютность своего проживания, уймищу тараканов и блох, а также на то, что хозяйка перед наступлением холодов притащила в дом два десятка кур и под столом сгородила им клетку с наместом... Петух по утрам орал простуженным голосом, потом навёрстывал исполнение своих петушиных обязанностей. Куры вкохтали, хлестали друг друга крыльями. Хозяйка бросала за перегородку жменьку зерна вперемешку с мелкими камешками, и птицы, толпясь в тесноте, ещё долго не могли успокоиться. Жилец в чине унтер-офицера терпеливо пережидал за занавеской утренний променад в курятнике. В это время из-под лёгкой перегородки растекалось острое куриное амбре.

Поэтому Достоевский в свободное время старался заглушить своё одиночество в компании с Врангелем. Арендовал Александр Егорович полдома у зятя казацкого урядника Митрофана Казакова. Дом был крепкий, Врангелю отдали две комнаты и кухню, обитые изнутри драпёрём, промазанные глиной и побеленные известью. Одна комната исполняла роль гостиной, другая – предназначалась для отдыха хозя-

ина. В гостевой втиснулся огромный стол, вокруг него стояло шесть массивных стульев, обитых зелёным плюшем. В простенке между окнами высился громадный диван с крутой спинкой. Рядом прислонился столик, предназначенный для мелких безделушек. Ближе к углу висело величавое зеркало, чуть не в рост человека, со сколотым краем. Достоевский не был суеверен, но почему-то смерть мужа дочери Казакова увязывал именно с расколотым зеркалом. Зять казачьего урядника погиб полгода назад под Севастополем на русско-турецком фронте...

Сидя за столом, покрытым тёмно-зелёным сукном, приятели не спеша пили чай, предварительно наливая его в малюсенькие блюдца. Врангель ходил в домашних тёплых туфлях без задников, Достоевский сидел в шерстяных носках, положив одну ногу на стул. Из длинного чубука курил «Бостанджогло», иногда для экономии примешивая к «Жукову» простую махорку – другое было не по карману. Хотя от такой адской смеси потом страшно ломило голову... Но ничего не попишешь, поменялись времена – бывало, в Москве он курил этот табак только из торговых домов самого Николая Бостанджогло, забегая за куревом то на Кузнецкий мост, то на Никольскую улицу...

– Скоро займёмся делом! – в начале апреля заявил Врангель. – Из вас, Фёдор Михайлович, получится толковый цветовод. Ну а я буду заниматься овощами и кустарниками. Это мечта моей юности.

Врангель получил у хозяев разрешение на использование всей заброшенной дачи Казаковых, которая разместилась на правом берегу Иртыша, близ батальонного лагеря за Казацкой слободкой.

Домик с верандой и террасой прятался за дощатым забором, а старый сад стоял, огороженный полуразобранном частоколом. Вдвоём привели в порядок брошенный участок. Почти до самой темноты принуждал Александр Егорович Достоевского возиться на участке. Уж эта немецкая педантичность и обязательность!.. Надо было вовремя следить за парниками, облагораживать дорожки, забивать щели в ограде, вырезать отжившие деревья и кустарники. В общем, работы оказалось на целую роту...

Когда с неба проглядывали огромные степные звёзды, Врангель разжигал на свободной площадке около одного из миниатюрных водоёмов костёр, высокое пламя которого, казалось, готово было лизнуть сам Млечный Путь... Досто-

евский любил такие минуты. Он широким взглядом впивался в пляшущее пламя, которое то вставало на цыпочки, то неожиданно приседало к земле. И все дурные мысли вдруг исчезали в голове, и в неё протискивались только светлые помыслы, наступал необъятный простор для жизни героев, которые завтра появятся на страницах произведений писателя...

Из задумчивости, как обычно, выводил Врангель. Он возвращал Достоевского к земным делам.

– Нет, Фёдор Михайлович, всё сделаем сами! И тем слаще будут плоды нашего труда, – подбадривал прокурор старшего по возрасту товарища. – Мы тут ещё сотворим такого!.. А как же?

По воскресным дням, если не было большого церковного праздника, они трудились на даче целый день. В апреле, как только расцвела тюльпанами степь, а воздух в полдень накалялся, словно у кузнечного горна, друзья перебрались в своё отлаженное гнездо на постоянное жительство. Апартаменты не отличались большой изысканностью, но в них можно было отдыхать в свободное время: прохладно, вольно и не беспокоят блохи и тараканы. И самое главное: вдали от постороннего глаза можешь заниматься любимым делом...

Когда начала всходить столовая зелень, на дачу стали приглашать дочерей городской хозяйки Достоевского. Любке и Прасковье было непривычно и любопытно работать с диковинными растениями. Они никогда в жизни, кроме подсолнечника, не видели никакого чуда – ни настоящей сирени, ни жасмина и с удивлением ахали, заметив первые бутоны роз и георгинов. Домой девочки уносили пучки лука, петрушки, салата и другой зелени, которую большинство обитателей Семипалатинска знало только по картинкам...

Иногда друзья совершали поездки в степь до ближайшего бора, попутно, чтоб утолить жажду, заходили в киргизские юрты. В таких походах не обошлось и без недоразумений. Оказывается, Достоевский до этого никогда не сидел в седле лошади... Усилиями Врангеля промах друга был устранён, и Фёдор Михайлович научился с изыском гарцевать по степному бездорожью. В бору в большинстве своём росли сосна да ель, кое-где виднелись корявые и от природы изогнутые стволы ветлы. А вот берёзы здесь никогда не росли. Не было и дуба, любимого с детских лет дерева Достоевского. Охоту Фёдор не любил, зато с любопытством собирал грибы, хотя в них совершенно не разбирался.

123

Вдвоём раз в неделю посещали семью Исаевых. Сам же Достоевский там бывал почти каждый день, занимаясь с Пашей по часу-полтора. Мальчик преуспел в русском языке, уже научился выводить отдельные слова, а по латыни читал правильно всё, что писал в тетради Фёдор Михайлович...

На даче допоздна сидели вдвоём около фигурного ломовского самовара с державным гербом, наслаждаясь только что полученным из Кяхты китайским чаем (большое спасибо однокашнику Врангеля по лицу, уехавшему после короткой службы в министерстве юстиции на монгольскую границу!). Старались менять сорта дарёного чая. Начали с «Ординарного» высокого качества, он быстро утолял жажду. В другой вечер заваривали «Кирпичный». К нему не нужны были лёгкие закуски – бублики, баранки или крендели. «Кирпичный» чай был спрессован с солью, маслом и сухим молоком. Комковой сахар ели вприкуску. От чая, имевшего красножёлтый оттенок, над столом плыл сильный аромат: терпкий, горьковатый, с вяжущим ртом вкусом. Пробовали и другие редкие сорта, которые в последующей жизни не пришлось больше попробовать: «Ма-ю-кон» и «Лян-син».

Когда в зал проникала вездесущая мошкара и появлялись серые неповоротливые мотыльки, Врангель гасил свечи и шёл в свою комнату. Фёдор ложился на большой турецкий диван в гостевой комнате. Минут через пять хозяин дома подавал голос. Обычно он начинал разговор о ходе войны. Оба остро обсуждали последние события в Крыму, скорбели о гибели общих знакомых офицеров. И много говорили о предательстве и уловках Европы, уповая на то, что со временем всё должно поменяться к лучшему...

В ста саженях от дачи на краю взгорка протекал безымянный незамерзающий ручей. Достоевский лопатой углубил ложе ручья, отбросил в сторону камни, нарушающие поток воды. Ручей пропустили внутри ограды, тут же устроили маленькую запруду. Это сразу облегчило полив растений.

Изредка, когда на даче никого не было, Фёдор шёл к реке, скидывал на песок полинялый жилет из розового ситца, снимал с шеи лукообразные серебряные часы на цепочке из голубого бисера, медленно стягивал сапоги и осторожно клал в сторону носки – давний подарок Марии Дмитриевны. Сидел несколько минут, опустив ступни ног в прохладный поток реки.

Смотрел на пологий противоположный берег Иртыша, молча наслаждаясь тем, как жизненная сила пробирается в его тело. Далеко-далеко за другим берегом стлался дымчатым ковром ковыль, а над ним плыло белое от зноя небо, в котором, словно застывшие на стекле мошки, висели на одном месте парящие коршуны.

Наконец Достоевский снимал с себя синие штаны, подштанники и, положив их горкой, медленно входил в глубину реки. Когда вода касалась горла и накрывала плечи, он отталкивался от каменистого дна, плыл саженками к середине течения. Усталый от заплыва, возвращался на сушу и долго и судорожно ходил по берегу туда и обратно, будто пытался вспомнить потерянную мысль или место дорогой утерянной вещи...

А может быть, ему было холодно не только на этом ветру и на этом берегу, а во всём неприветливом мире... Его сутулое, костлявое тело, покрытое бледной желтизной и много лет не знавшее солнечного света, никак не могло найти гармонии с окружающей природой.

ГЛАВА 21

– Что-то припозднились сегодня, Фёдор Михайлович? Не завели случайно проказницу на стороне?

Достоевский с досадой отмахнулся, как от надоедливой мухи.

– Ай! Пришло в голову фантазёру Беликову сыграть в штос по случаю дня памяти семи воинов-отроков Ефесских...

Врангель так и повалился в траву.

– Ну надо ж додуматься! Это в фараона-то и в честь отроков? Ха-ха! А вы, «ваше благородие», знаю, не любитель кидать карты...

– В том-то и дело. Но было приказано всем офицерам присутствовать при конечном выигрыше. Меня тоже присовокупили за неимением желающих...

– Ну и как?

Достоевский вошёл в дом, пропустив мимо ушей пустой вопрос. Потом снова появился, успев переодеться в домашнюю одежду.

– Я, Фёдор Михайлович, тоже не скучал, – продолжил лукаво Врангель. – После обеда у меня были гости.

Достоевский насторожился.

– Кто же?

– Две дамочки из казацкой слободки. Обе такие расфуфыренные цацы. То ли молодые вдовушки, то ли старые девы. Жаль, вас не было,

Фёдор Михайлович. Кстати, они чрезвычайно сведущи в литературе. Даже слышали о Державине и Пушкине.

– Меня это совершенно не интересует, дорогой Александр Егорович!

– Ан не скажите! Они пришли, говорят, поглядеть на наши диковинные цветы. Истоптали полгорода и пытались снять весь урожай левкоев, что вы посадили у ограды.

– Да как же так? – кинулся убитый сообщением Достоевский к тому месту, где росли цветы.

Когда убедился, что урон нанесён небольшой, успокоился.

– Благодарите мою смекалку. Я принёс одного ужа из-под нашего пола и хотел вручить гостьюшкам в виде презента... Знаете, какой крик поднялся в округе! Если бы не знающие люди, то можно было подумать, случилось насилие в нашей усадьбе. Причём, знаете, с чьей стороны? Эх, Фёдор Михайлович, Фёдор Михайлович!.. На меня-то никто б не осмелился подумать...

По выражению лица Достоевского Врангель понял, что переборщил с описанием происшествия. До самой темноты, когда была пора пить вечерний чай, Достоевский не произнёс ни слова. За чаем тоже был малоразговорчив. Только когда легли по своим углам, сипло буркнул:

– Весточку получил из Кузнецка...

– Что там хорошего?

– Всё плохо! Отвели годовщину со дня смерти Александра Ивановича. Марья Дмитриевна хворает, Паша ногу проколол. Жара у них. Дождей давно не было. И полное безденежье. Я передал сколько мог. Придётся самому в долги лезть...

Врангель знал, что не к кому его другу лезть в долги. Все кругом живут от копейки до копейки. Хорошо, что он ещё не женат и жалованье сносное. За квартиру в городе платит тридцать рублей в месяц – за комнаты, конюшню, сарай, за стол и за тепло от печки в зимнее время. Квартирка Фёдора Михайловича со столом и стиркой белья, конечно, обходится дешевле, то есть пять рублей в месяц. Непонятно, как при мизерном жалованье человек может выкручиваться...

После длительного молчания первым заговорил Достоевский.

– Я диву даюсь странной болезни Марьи Дмитриевны. Вот как распоряжается жизнь: у благородного человека всегда благородная болезнь... Вы представьте, что чахоткой болеют непризнанные гении, герои трагических пьес, опечаленные

жизнью личности. Возьмите Спинозу, Шиллера, Шопена, Белинского, даже нашего Чокана Валиханова... Как считает медицина, незаразная болезнь, переходит от человека к человеку при повышенной деятельности его мозга...

– Вы абсолютно правы, Фёдор Михайлович! Это как инфлюэнца, возникающая из воздушного океана. И чахотка происходит от образа жизни, от конституции человека. Учёные предполагают, что она может передаваться с молоком матери или с семенем отца... Но вы не задумывались, почему она больше поражает аристократов, людей высшего света? С давних пор окровавленный платок в драмах был символом индивидуального страдания...

– Пушкина вспомним по этому случаю? – неожиданно произнёс Достоевский. – Александр Сергеевич был убит вскоре после того, как скончалась моя маменька. Если бы не семейный траур, то я б испросил позволения у отца носить траур по Пушкину... Есть у него одно незаконченное произведение. «Осень», накидал в ноябре тридцать третьего... Да по какой-то причине отставил до будущего...

– Я весь внимание! – ответил Врангель.

Достоевский начал сипловатым, прокуреным голосом:

*Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечёт. Сказать вам*

*откровенно,
Из годовых времён я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник
не тщеславный,
Я нечто в ней нашёл мечтою своенравной.*

*Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице ещё багровый цвет.
Она жива ещё сегодня, завтра нет.
Унылая пора!..*

За время чтения стихов голос Достоевского несколько раз поднимался, а в конце сник, словно пламя свечи, погашенное налетевшим

ветром. Закончил он стихотворный монолог доверительным шёпотом.

– Унылая пора... Вы не заснули от моей декламации? – осторожно спросил Достоевский.

– Нет! – растроганно ответил Врангель. – Мне надо подумать... Я ещё долго не усну.

ГЛАВА 22

Достоевский знал, что в одну реку не входят дважды. Значит, это будет другая река. Прошло полгода с тех пор, как он впервые оказался в Кузнецке. Если бы не ОНА, то никакими посулами его б не заманили в далёкую сибирскую глушь с пыльными улицами и лежащим вдоль них домашним скотом, вокруг которого кружат мириады навозных мух. Сейчас только одна отрада: там, как и на всей земле, всю нечисть прикрыл ноябрьский снег.

Но скромничал и, более того, лукавил перед собой Фёдор Михайлович. Не мог он не знать, что ждёт его впереди. Иначе бы действительно не тронулся в свой рискованный путь.

На этот раз ему необыкновенно подфартило. До Барнаула Достоевского взяли с собой в возок спешившие туда на бал к Гернграссу известный в Семипалатинске путешественник Пётр Петрович Семёнов (будущий Тянь-Шанский) и адъютант семипалатинского губернатора Демчинский. С Семёновым Достоевский познакомился ещё в Петербурге, когда тот служил в столице магистром ботаники, а с Демчинским водили близкую дружбу с первых месяцев появления Достоевского в Семипалатинске.

Подполковник Беликов, потирая большой, с прожилками, красный нос, распорядился выписать Достоевскому подорожную, а про прогонные только лукаво упомянул, загибая пальцы.

– Первым делом надо учесть, что прапорщик Достоевский едет не по служебному маршруту, а на частный приём к господину Гернграссу – начальник алтайских заводов завтра даёт в Барнауле бал. Второе, мы-то все, смертные, остаёмся дома и, как говорится, с носом. Ну и третье, думаю, от бала прапорщику Достоевскому достанется маленький куш и презент до самого Кузнецка. И до нас он, надо полагать, ничего не доведёт. Я правильно понимаю диспозицию? – закончил батальонный командир, одновременно подмигнув командиру второй роты Артёму Ивановичу Гайбовичу.

Все, кто находился рядом, приняли сообщение с шуткой и дружно захлопали в ладоши. До-

стоевский торжественно и с полной серьёзностью козырнул Беликову:

– Рад стараться, ваше высокоблагородие!

К обеду последующего дня все были в Барнауле. В дороге пришлось ночевать, но не так утомительно, как в прошлый раз. И сам тракт оказался сносным, колея было хорошо укатана после первого снега. Но, как сказал Демчинский, это не от Бога, а за состоянием дорог теперь более тщательно смотрит Канцелярия Колывановоскресенского горного начальства. И не дай Господь, если кто-то туда пожалуется...

– Работают в основном крестьяне, отбывающие натуральную дорожную повинность, – заметил Семёнов. – Дорожное полотно не может самовосстанавливаться! На это должны быть положены большие деньги.

– У нас, к сожалению, только привлечённые крестьяне являются единственным источником и средством строительства и содержания дорог, – хмуро ответил Демчинский, – хорошо, что за ними следят земские исправники и руководят горные офицеры...

Достоевский знал, что ехал он с большими в округе людьми, да и сам не какой-нибудь там унтер-офицеришка, а уже полный офицер, да ещё при возвращённом дворянском титуле.

Дом, что арендовал Семёнов, находился во владении купца Зубова и стоял на Сенной площади, выпираясь длинной стороной на Большую Олонскую улицу. Особняк был поставлен недавно и представлял собой двухэтажное здание с восемью окнами с каждого этажа на обе стороны, а также с двумя входами: главным и чёрным. Над входом со стороны площади возвышался резной балкон с пирамидальной башенкой из светлого дерева. Недалеко за домом поднималась гора, поросшая смешанным лесом.

С приездом хозяина и гостей засуетилась прислуга. Сразу же подали обед. Приехавшие с устатку выпили по рюмочке настойки из вишни с шиповником.

– Целебная штука! – похвалил зелье Семёнов и дотронулся до усов, подпирающих большой крючковатый нос. – Приводит в норму все активные элементы организма. Тем более нам предстоит трудный вечер у мадам Гернграсс.

Пётр Петрович был для Достоевского человеком особым. При встречах с ним Фёдору казалось, что от путешественника веет необыкновенный запах высоких степных трав, среди которых выделяется запах розовых цветов хатмы и

стройных диких мальв. Как на яву, Фёдору виделись пучки ковыля и крупных поникших соцветий чертополоха. И волчегодник, застрявший в кустах, наполняет воздух ароматом бело-розовых цветов.

– Я, Пётр Петрович, собирался сегодня в ночь дальше... – начал было Достоевский.

Семёнов медленно приподнял ладонь, как бы показав знак «ша!», то есть «а я, братец, с тобой категорически не согласен!».

– Лошадкам, милый Фёдор Михайлович, нужен уход и отдых! Вместо возка дадим тебе кошевую, возьмёшь мой тулуп. Домчишься как степной орёл. Завтра к полуночи будешь на месте. Игнатий дорогу знает. Прошли с ним по Азии более четырёх тысяч верст...

Деваться оказалось некуда. У хозяина был неотразимый резон не отпускать Достоевского до утра. Демчинский, сняв верхнюю рубашу, дремал, изредка всхрапывая и тут же просыпаясь.

Он, видимо, знал за собой этот грешок и потому каждый раз повторял:

– Пардон-с, господа! Я вам не помешал?

А Семёнов оказался хитрющим жуком. Он, конечно, мог бы дать указание Игнатию, и тройку б заменили. Но, с одной стороны, было неразумно отправлять нездорового человека на ночь глядя в какую-то глухомань, а с другой – он ещё в Семипалатинске придумал идею: неожиданно появиться на балу в доме Гернгросса не с пустыми руками, а с самим писателем Достоевским. Нет, Семёнов не собирался примазываться к чужой славе. И своей хватало на десятерых – его знала не только Россия, но и вся просвещённая Европа. А в ближней Азии Семёнова вообще считали своим человеком. Делал сегодня он всё во имя своего хорошего друга, которого уж точно не баловала судьба...

Семёнов заставил Достоевского взять с собой в дорогу костюм, пошитый когда-то слугой Врангеля Адамом. И сейчас штатская одежда, сбрызнутая водой и проглаженная утюгом, висела в комнате, отведённой семипалатинскому гостю. Рядом стояли подобранные по ноге башмаки и возле них новые галоши. Люди Семёнова перенесли в эту комнату все вещи, которые оставил Достоевскому Врангель перед своим отбытием в Петербург. Кроме того, в доме находились и другие вещи, которые Александр Егорович хранил для Достоевского. В шкафах лежали рубашки, подштанники, носки, простыни, столовое бельё, халат, домашняя верхняя одежда. Внизу стоял

самовар, кастрюли и столовая посуда. Всё это оставил Врангель с дальним прицелом: к началу семейной жизни своего друга... На виду висело тёмно-синее пальто – душевный подарок Фёдору Михайловичу от Адама. Такого модного пальтеца Достоевский не носил ещё никогда в жизни...

Бал был в разгаре, когда трое приятелей появились в прихожей барнаульского дома Гернгросса. После мороза их обволок запах французского вина и укутало облако из смесей самых дорогих духов, доставленных из Петербурга и даже из самого Парижа.

Достоевский выглядел выше своего фактического роста – не меньше семи вершков. Тёмный сюртук, серые брюки, белая накрахмаленная рубашка со стоячим воротничком, углы которого по последней моде касались почти самых кончиков ушей, шарф из тяжёлой шёлковой ткани преобразили линейного офицера в мужчину, утомлённого каждодневными приёмами и зваными обедами. После официального представления Достоевского хозяйкой дома присутствующие устремились к почётному гостю. Дамы, одетые во всё голубое, розовое и белое (почти на каждой кринолин неповторимой ажурности и отделки) с любопытством и даже по-своему въедливо рассматривали лицо Достоевского. Мужчины, в тёмных костюмах с золотыми и серебряными цепочками карманных часов, и несколько офицеров тянулись к Достоевскому за соизволением рукопожатия. Многие были наслышаны о небывалой привязанности писателя к вдове беспробудного семипалатинского пьяницы Исаева и считали такое влечение весьма пикантным...

Веснушчатое бледное лицо Достоевского оставалось угрюмым. Только подстриженные недавно волосы с зачёсом налево молодили известного писателя. И ещё на дам смотрели карие, а в свете канделябров ставшие серо-синими умные глаза, полные, как им казалось, загадок и неожиданностей...

Ноздри Достоевского щекотал запах кельнской воды, которую ему перед отъездом к Гернгроссам подсунил Демчинский.

– Не отворачивайте голову, господин офицер! Это любимый аромат самого Наполеона Бонапарта!..

Вскоре хозяин дома Андрей Родионович пригласил гостей в обеденный зал к вечерней закуске. Достоевский заметил, как Екатерина Осиповна, явно позабывшая недавние ночные ласки Врангеля, подала Демчинскому условный знак.

Поодиночке они удалились и, когда все заканчивали рассаживаться, так же врозь появились вновь. Демчинский занял место возле Достоевского. За спиной вдоль стены стояли столики с игральными картами и вином для занятий престарелых, но важных гостей. Не обращая внимания на присутствующих, какой-то старый сановник чмокал беззубым ртом и целовал ручку дамы с волосами, похожими на нерасчёсанную кудель. Остальным гостям до них не было никакого дела.

– Забыл, где у них в доме рукомоиник, – поспешил объяснить свою задержку Демчинский.

– Так мы ж с вами уже мыли руки, – простодушно заметил Достоевский, на что адъютант косо и внимательно посмотрел на соседа.

...Ох уж эта тайная любовь! Достоевский в тонкостях знал её подноготную. Но у него, считал он, было совсем другое: небесное, единственное, вечное. А здесь когда-то два быка схватились из-за одной самки. Так понимал Достоевский сложившиеся любовные отношения между Врангелем, Демчинским и Катериной Гернгросс.

Врангель всегда старался не упоминать в присутствии Демчинского имя адъютанта. Демчинский же, наоборот, при всякой возможности отпускал в адрес прокурора нелестные эпитеты или дурацкие шуточки. Если говорить по правде, то был ещё второй, к счастью, не любовный треугольник: это Врангель, Демчинский и Достоевский. В нём Фёдор всегда, как острый угол, находился посередине других сторон и гасил высказанную неприязнь каждого из друзей или плоские замечания Демчинского...

В последние дни перед отъездом из Барнаула Александр Егорович старался, не порывая отношений с Екатериной Осиповной, несколько отдалиться от неё. Он знал о намерениях Демчинского чаще и дольше бывать у Гернгроссов – и в Барнауле, и в Змеиногорске – и всё только ради великолепной хозяйшки. Врангель продолжал ревновать Екатерину, но понимал, что для него эта красивая ведьма оказалась уже отыгранной картой. А эта карта не желала быть отброшенной в сторону. Черноволосый здоровяк с густой бородкой и неширокими усами продолжал сводить её с ума. Кэтрин тоже знала, что их отношения с Врангелем подходят к концу, и она уже выбрала новую жертву в лице Демчинского, но за любимого Сашульку цеплялась до последнего часа...

Танцы под фортепьяно в приличном обществе балом не считались. На настоящем балу обязательно должен присутствовать оркестр или ансамбль музыкантов. На этот раз в зале сидели шестеро музыкантов, привыкших играть в лучших домах Барнаула.

Вместо уходящего в прошлое менюэта звучали современные танцы: полька, экосез, кадрили, мазурка и, конечно же, стремительно входящий в моду вальс. Огиньский, Лист, Шопен, Штраус...

После бокала шампанского «Ай-Даниль» из подвалов князя Воронцова Достоевский преодолел непривычное состояние. Пребывая в новом штатском костюме и отбросив внутренние запреты солдатского быта, он с небывалой самоуверенностью пригласил к танцу молодую барышню в голубом кринолине.

Музыканты в эту минуту наигрывали мазурку. Ах, что это была за минута!.. С Достоевского скатилась пелена последних лет. Он почувствовал себя безмятежным отроком, которому было подвластно всё окружающее пространство... Её звали Даша... и ещё возле неё благоухали духи «Полевые тропинки» моднейшего французского парфюмера Пьера-Франсуа Паскаля Герлена...

– Не говорите мне о себе ничего! Я вас таким и представляла раньше! – с придыханием и восторгом шептала Даша, когда её курносое лицо проносилось рядом, почти касаясь лица Достоевского...

К сожалению, танец скоро закончился, и Достоевский отвёл барышню к старшим сёстрам.

Подошёл Семёнов, легко тронул за плечо.

– Вас, Фёдор Михайлович, ожидает внизу экипаж.

– Куда? – с недоумением спросил Достоевский.

– Пока до ваших апартаментов. А затемно поутру вас ждёт дорога в Кузнецк!

Расставаться с весёлой компанией не хотелось. Бал и его прелести только набирали силу. Но в Кузнецк надо было позарез...

Фёдор проспал ночь мертвецким сном. Наверное, как повалился на подушку, так ни разу и не шелохнулся. Даже болело правое ухо, которым удосужился ткнуться в постель. Потом вдруг услышал топот ног, шумливые крики. Он понял, что с бала вернулись Семёнов и Демчинский. Было около пяти утра. Слуги приготовили на троих завтрак, на небольшой деревянной тумбе посапывал золочёный самовар, украшенный не менее чем десятком медалей.

– Всё, всё!.. Побаловались и за дело! – с радостным волнением шумел Демчинский.

Он был нетрезв. Его палящий взгляд говорил о том, что бал удался на славу, а может быть, и того больше. Семёнов ходил по комнате ровно, словно нигде не был и ничего не пил.

Демчинский налил бокал вина, пригубил и отставил в сторону. Повернулся вместе со стулом к Достоевскому.

– Едете в суровый край, Фёдор Михайлович! Там мало ли чего... – и, подняв указательный палец, закончил: – Считаю необходимым взять с собой мою гладкостволку. К ней у меня лежат полусферические нейслеровские пули. Бьют на двести сажень. Наповал! Как, Фёдор Михайлович?

– Ты что-то перехватил, братец! – остановил Демчинского Семёнов. – Он же в уездный город собрался, а не с янычарами биться. Ты б ещё пулю Петерса ему предложил и ружьё с нарезным стволом. Оно бы и на четырёста сажень могло взять. А то и на пять сотен... Я, брат, в каких переделках только не побывал, а за оружие единственный раз по-настоящему схватился... Надо знать, Вася, повадки человека и зверя...

Достоевский в очередной раз удивился простоте и размаху ума Семёнова. Не человек, а человечище, сознательно отдающий себя ради интересов державы...

ГЛАВА 23

Выехали, когда на небе висели яркие ночные звёзды. До рассвета было ещё далеко.

В кошевой повозке днище застлано кошмой, поверх неё умято сено. А на сене постелен полог. На всем этом удобстве в овчинном тулупе, который в другие времена обхватывал объёмистое тело Семёнова, уместился Достоевский. Свет ущербной луны, нацарапанной на небе мелом, высвечивал дорогу шагов на полста. Дальше мир тонул в сплошном чернильном пространстве. Слабо-искристый куржак на берёзах тоже гас в нём.

Но то ли приближался рассвет, то ли глаза постепенно привыкали к темноте – видимый кругозор вскоре стал расширяться. Игнатий лошадей не гнал, не взмахивал кнутом, не «нукал», полозья кошёвки будто пели. И седок был рад складывающимся обстоятельствам. Пройдёт день, короткий зимний день, и он после долгой разлуки обнимет свою ненаглядную Марию Дмитриевну, долгожданную Машеньку.

На этот раз должен состояться их сговор. Если он не получится по какой-то причине, то, по-

жалуй, вся жизнь Достоевского будет перечёркнута на нет корявым металлическим пером. Мысли о Марии Дмитриевне не давали покоя страдавшей душе. И Фёдор не пытался отогнать их – было бы бесполезно...

Тогда он углублялся в годы своей молодости и даже дальше – в дни далёкого детства... Вот встал перед глазами суровый батюшка Михаил Андреевич, у которого всегда что-то не ладилось в усадьбе. Непрерывно болели почти все ребятишки, особенно «дети» (так меж собой старшие братья называли младшеньких), вот уж точно была пора: то понос, то золотуха... Хворой маменьке, которую так страстно любил Федя, не хватало сил уследить даже за малолетками. И каждодневно злой и недовольный жизнью отец. То у него сухой год с урожаем, то околела половина скотины, то сгорел стог сена, а потом ещё и целый овин...

Маменька померла рано, в феврале тридцать седьмого. Царствие ей небесное! А Михаил Андреевич то ли с тоски и печали, то ли с необузданности своей не сдержался, начал злоупотреблять спиртным зельем, сблизился с грудастой девушкой Катериной, бывшей ранее в услужении у Достоевских в Москве. По маменьке ещё не обсохли скорбные слёзы, как принесла Катерина в дом незаконнорожденного сына Симеона.

Дурная слава прошла не только по селу, но и меж взрослой родни Достоевских, и отправил отец Мишу и Феденьку подальше от прилипчивых слухов, в Москву на учебу в чужие люди. Попали оба на Басманную улицу в пансион Леонтия Ивановича Чермака. Здесь они должны были одолеть девять наук, познать два языка и проявить себя в трёх искусствах. Но это оказалось только началом всех бед... Юношам не терпелось приобщиться к настоящей жизни, и тогда отвёз отец погодков ещё дальше – в столицу. Больше недели ехали они втроём на своей лошадке до берегов Невы, где поселил отец сыновей на временное жительство в гостиницу у Обухова моста.

...А цепкая память продолжала наполнять голову Достоевского мельчайшими подробностями... Он вспомнил, как по глупости или халатности военных фельдшеров определили хлипкого Федю в Главное техническое училище, что размещалось в Михайловском замке Петербурга. А у здорового Мишани признали начинающуюся чахотку... Целых пять лет, до августа сорок третьего отдубасил Фёдор кондуктором-воспи-

танником училища, пока не определили его в полые инженер-прапорщики. В итоге зачислен был молодой Достоевский в офицерском звании в инженерный корпус при чертёжной мастерской Инженерного департамента...

Сполна изведаль Фёдор жестокие обычаи своей учёбы. Особенно, когда находился в «рябцах» – в неошелушённых новичках-кондукторах. Чего только не досталось на его рябцовскую долю: и ледяная вода за воротник, и удары линейкой по голове, и размазанные на полу чернила, которые приходилось слизывать языком. Однажды ради развлечения старшекурсники заставили его ползать на четвереньках под столом, причём вдобавок старались угодить хлыстом по спине. А вечером того дня у него началось ЭТО. Он хорошо помнит тот миг... Наступило состояние невесомости и полного отстранения от жизни. Миг полного счастья оказался долгим, но Достоевский потом так и не мог описать его никакими словами...

И вдруг случился ужасный день середины июня тридцать девятого. Фёдора с занятия неожиданно пригласили к начальнику училища. Он шёл по длинному коридору в сопровождении портупей-юнкера здоровяка Фёдора Радецкого (кстати, будущего героя Шипки), который должен был выпускаться из училища через несколько недель.

– Нашкодил небось? – участливо спросил тёзка.

– Нет!

– Смотри! За «нет» бывает ещё хуже привет... Вылетишь как миленький...

За коричневым столом с отделкой из позолоты сидел начальник училища. Рядом стоял командир роты полковник Фере. Достоевский вытянулся, отдал честь, начал рапортовать. Генерал-лейтенант Шарнгорст поднял сухие веки, облизал губы.

– Кондуктор второго курса... – связывал слова Достоевский.

– Не надо... Моя обязанность передать вам... э-э... скорбное сообщение, что шестого дня этого месяца в результате... э-э... апоплексического удара скоропостижно... э-э... скончался ваш батюшка, отставной надворный советник... э-э...

Фёдор с первых слов понял, что хочет сказать начальник училища. Сразу же стал проваливаться в бездну, успев сообразить, что у него снова начался приступ ЭТОГО. Очнулся на кровати в своей камере (так в корпусе назывались

спальные комнаты). В сторонке со скучающим выражением лица сидел дежурный кондуктор.

– Ты вчера всё начальство перепугал, Достоевский. Хотели было тебя в лазарет поместить, да доктор Шварцкопф пояснил, что в таких случаях бывает истерия. Утром пройдёт...

Фёдор жалел и в то же время презирал своего отца, не любил, но боялся. Понимал, что отец – это источник его существования. Теперь источник иссяк. Значит, не будет и прежней жизни...

Достоевский припоминал известные ему подробности жизни отца перед смертью. Потеря любимой жены, алкоголизм, постоянные нелады в хозяйстве – всё это выливалось в крутую жестокость к крепостным мужикам. Те его подстерегли в глухой вечер и во дворе черемошнинского крестьянина Ефимова устроили барину «карачун»... Бессмысленно и беспощадно. Фёдор считал происшедшее позорием семьи и никогда об этом никому не рассказывал...

– Ваше благородие не задремало? – повернулся кучер к Достоевскому. – А то ветер обманчивый. Вроде и не сильный, а нос быстро отморозит...

Достоевский вздрогнул. Он не мог понять: то ли задремал, то ли глубоко задумался. Пошевелил пальцами в глубоких пимах, сжал кулаки в мохнатых рукавицах. Нет, вроде всё в порядке.

– Зима – она не время для прогулок, да притом в дальние края. Вот чего вам, ваше благородие, не сиделось около своей супружницы? Видать, какую-то добычу наскребли?... Торопитесь... Силы тратите... Я, ваше благородие, по первозимку прямой дорогой когда-то ездил. Молодой был, горячий, всё нипочём. В зиму аль сырым летом там, само собой, ехать без всякой выгоды. Засядешь как пить дать. И телегу утопишь, и лошадок уморишь. Наши ямские, они напрямик ни за что не поедут. Там, коли какая беда случись с тобой или завяз крепко, – считай, какю! Только пешком назад. Помочи никакой не жди... А вот по первозимку – благодать! Не надо лишнего крюка давать, а крюк не махонький. Вёрст тридцать будет, а то и боле... Вот я всё думаю: не махнуть ли, ваше благородие, нам с вами коротким путём?

– Да как хочешь! Ты ж себе не вредитель...

И подумал: «Хорошо вознице, сам себе хозяин. Хочет – одной дорогой поехал, хочет – другой. Захочет – на месте стоять будет... А мне свыше предчерчен один путь в жизни, и тот норовит сойти на шило».

– Ну, коль не вредитель, тогда поехали, ваше благородие, по наезженной колее. А то мало ли чево?

...В какую-то минуту Фёдор Михайлович поймав себя на том, что незаметно задремал. Под широкий ворот тулупа доходил убаюкивающий скрип полозьев, добавляющийся ровным покачиванием кошёвки.

Вскоре сквозь узкий просвет между концами воротника к глазам проникли розовые блики восшедшего солнца. Сани вкатились в большое село.

– Греться будете, ваше благородие? – спросил возница. – Лошадкам передохнуть надо часок-два. Силы-то много ногами раскидано...

– Я кости разомну. Чайку попью в удовольствие.

Оказалось, что добрались до Сорокина. Фёдор выбрался из тулупа. Пошёл к почтовой станции. Там колыхался людской гвалт. У привязи стояло трое саней. Станционный смотритель, ясноглазый дядька в поношенном зелёном сюртуке, сатиновом шарфе, трижды обмотанном вокруг шеи, и надвинутом на самые уши казённом картузе вёл разговор с гостем, явно куда-то спешившим.

– Мил человек, я тебе по-русски объясняю, что подорожную оформлю вмиг. Книга у меня специальная, чирк – и ты в ней окажешься. И штемпелёк в кармане присутствует. А вот свежих лошадок у меня с самого утра нет. Все в разъезде. – И у смотрителя, видно, бывалого солдата, отправленного домой по болезни, блеснула медалька на выцветшей ленточке.

– Но на моих глазах только что тройка укатила в Барнаул. И место свободное было.

– Ахти мнеченьки! – выражая небывалое удивление, всплеснул руками смотритель. – Прости, родимый, прости! С ней, с той троечкой, тебе никак нельзя! В ней почта казённая и фельдъегерь при ей, а в почте, небось, деньги немалые... А ты, дружок, не генерал, не высокий чин какой-нибудь, а коллежский ассессор. Не велика птица... Может, хочешь, чтоб я тебе ещё курьерских подал?

– А вдруг до вечера свежие не появятся? Я-то тогда как? Я ж на свадьбу к брату не успею...

– Ты только не убивайся шибко, голубчик! У нас тут люди по двое, по трое суток томятся... Да и поболее... А ты «свадебка, свадебка». – И на ухо просителю: – Вон с краю привязи видишь парю? Это Иван Андреича лошадки, нашего старо-

сты. У него люди на вольных возят. Договорись – тогда, может, и на свадьбе своей погуляешь... Только это тебе вдвое дороже выйдет! На то она и вольная гоньба... А про слова мои, мил человек, смотри, никому языком не брякай...

ГЛАВА 24

К дому Вагиных подъехали в тьме тьмушей. Видно было, что в кухне горит одна сальная свечонка. От хорошей лучины свету и то бывает больше. Что она, сальная свечка? Фитилёк в растопленном овечьем жире с примесью квасцов... Для аромата Вагин кладёт ещё туда камфару... А в результате такие свечки плохо твердеют и к тому же горят с копотью и треском...

Услышав ржание лошади, выскочил к воротам хозяин в накинутом на плечи зипуне. Поздоровались, обнялись.

– С прибытием, Фёдор Михайлович! Как доехали? Без каверз?

– Слава Богу! Да копейке нашей серебряной! – шутиливо отозвался Достоевский, внося в дом дорожный сундук и холщовый мешок с стинцами.

Угарный чад от свечки стелился по кухне. Со свежего воздуха от свечного нагара скребло в носу. Федосья обняла Достоевского по-матерински, троекратно расцеловала, как сына, прибывшего на побывку из далёкой столицы.

– Давай-ка, Михалыч, за стол! А ты чё, пень старый, огонь в канделябре не запалишь? – это уже к мужу.

«Старый пень» не заставил себя ждать. Он проворно зажёл три стеариновые свечи, от которых изба показалась просторней и светлее. Потом приступил к самовару, хранившему в себе искру после вечернего чаепития – будто Вагины предчувствовали приезд желанного гостя.

– Как дела у Марьи Дмитриевны? – спросил Достоевский.

– Жива, здорова, – налаживая самовар, буркнул Вагин.

Вслед за ним подала голос хозяйка.

– На днях виделась у керосиновой лавки. Семилейную лампу ей в подарок учитель купил. Теперь иной порой из окон свет льёт, как из казначейства. Надо стать, вас, Фёдор Михайлович, ждёт голубушка. Тягостно ей, что ни говори, годовщина прошла, как отошёл Александр Иванович, царствие ему небесное! Все слёзы пролиты... Народ понимает, что бабе одной не прожить без стороннего сосуществования. Вдовый

свояк Устьянцевых из Томска месяца два тому назад наведывался. Интерес проявлял... Жених в самом прыску! Да и из наших кузнецких тоже некоторые пару себе ищут. Кто вдовый, как и она, кто калечный – вот, к примеру, купец Фофанов, у него с младенчества голова на плече лежит... А силы, как у быка. Он тыщонки три готов положить на свадьбу.

Как сквозь заложенные уши воспринимал Достоевский слова о женихах Марии Дмитриевны. Он знал её идеалы. И размениваться ими она, конечно, не станет. Совершенно не задевали слова простодушной хозяйки о том, кто и как пытается «подъехать» к одинокой вдове. Но упоминание об учителе ввело гостя в бешенство. «Опять ты! Ну чего тебе надо, новоиспечённый Ромео? Что ты можешь дать в этом захудалом городишке женщине с малолетним ребёнком? Женщине, которой ты, по существу-то, и недостоин... Или в пылу уездного величия вознамерился замешать новую кровь: свою невесть какую мещанскую с кровью старинного французского рода... Неоперившийся мальчишка, не испытавший жизненных тягот и превратностей...»

Достоевский воочию представил перед собой своего молодого противника. Красивого, спесивого, гонористого, самоуверенного... Мелкая дрожь охватила. И вдруг ему самому захотелось стать похожим на своего соперника... Тоже красивым, спесивым, гонористым, самоуверенным и красноречивым. Тогда в чём, собственно, вина Вергунова перед ним, каким-то заезжим прапорщиком Достоевским. Разве человек обязан доказывать преимущества своих чувств перед другим человеком принадлежащим ему титулом, амуницией или сладкоречием... Достоевский с брезгливостью отшатнулся от своей мысли.

– Значит, три тыщонки, говорите, готов вытащить для пользы дела? – И усмехнулся. – Серебром или ассигнациями?

– Такой и золотишка не пожалеет...

Посидели часок за столом. За чаем поговорили о погоде, о длинной дороге от Семипалатинска.

– Спи с Богом, Фёдор Михалыч! Утро вечера мудренее! – напоследок пожелал Вагин и пошёл проверить запор у хлева с двумя хряками, готовыми на забой аккурат к Никольским морозам.

ГЛАВА 25

Проснулся Достоевский поздно. Сказалась разница в солнцестоянии между Кузнецком и

Семипалатинском. А может быть, повлияла усталость от позавчерашнего бала и быстрой дороги.

Выбритый, надушенный остатками кельнской воды, Достоевский пошёл переулком, знакомым с прошлого приезда. Под сапогами скрипел снег, набитый ночной позёмкой. Длинные полы офицерской шинели жались к ногам на встречном ветру. Кузнецк давно ожил. От церкви лился ровный колокольный звон. Проносились санные повозки. Куда-то направлялся местный люд. У каждого были свои дела, свои заботы.

К дому, где жили Исаевы, пропечатались крупные следы от подшитых валенок. Достоевский решил ступить на них, догадавшись, что эти знаки на снегу остались от обуви Вергунова. У ворот Исаевых были навалены берёзовые и пихтовые чурбаки, напиленные из свежего дерева. Хорошее, но запоздалое топливо – в этом деле Фёдор понимал толк. Ему бы, этому дереву, надо в поленице полежать жаркую половину лета.

Постучал в дверь. Из дому поспешно вышла хозяйка. Надо полагать, она увидела Достоевского ещё в окошко. Мария Дмитриевна бросилась к нему, припала головой к груди, зарыдала.

«Милая моя!» – хотел вымолвить Достоевский, но сказал с некоторой официальной сухостью и весьма длинно: – Ну что вы, матушка Марья Дмитриевна! Такая радостная встреча, а вся в слезах. Я хотел вас видеть не только в полном здравии, но и в счастливом расположении духа! Идите, идите вовнутрь! Зябко же...

В сенях почти на лету успел поцеловать тонкие пальцы своей ненаглядной Машеньки.

За столом в лёгком пальтеце сидел Николай Вергунов. Подле него над листами рисовальной бумаги склонился Паша. Вергунов, не ожидавший появления Достоевского, мгновенно встал.

– С приездом вас, Фёдор Михайлович!

Следом к Достоевскому бросился Паша. Он заметно вытянулся, похудел, но по-прежнему радостно блестели его чёрные, как у матери, глаза, только отцовской формы: овальные и чуточку выпуклые. И неизменный ёжик смоляных волос.

– А бубликов, ваше благородие, привезли из Семипалатинска?

У мальчишка, наверно, бублики были единственным воспоминанием о прежнем городе.

– Разве без бубликов я бы к тебе приехал? Есть и сладкие крендели...

Вергунов, видимо, догадался, что его дальнейшее присутствие здесь излишне. Он поднялся,

прихватил шапку, еле сдерживая чувство досады, посмотрел в упор на нежданного пришельца.

– Вы надолго к нам?

– Дня на четыре-пять. Должен решить одно важное дело.

И увидел, как пересеклись взгляды Вергунова и Марии Дмитриевны, как в них вспыхнул и погас огонь, понятный только им двоим. И взгляды мгновенно разошлись. Вергунов, не прощаясь, удалился, тихо притворив за собой дверь.

Достоевский хотел было спросить: а не лишний ли он сам в этом доме. Но сила смирения оказалась выше возникших мыслей.

– Я, Марья Дмитриевна, так и не дождался от вас ответа о возможности моего приезда. Вы, наверное, не знали о моих серьёзных намерениях?

– Почему не знала? Я получила все ваши письма. Скорей всего, думаю, произошёл сбой из-за ледостава на Томи. Паромы и лодки выволокли на берег до весны. Только около недели назад открыли ледовую переправу. Значит, моё письмо в пути к вам... Я даю честное слово, Фёдор Михайлович, что рассчитывала на ваш приезд. Тем более вы писали мне об этом...

Внутри Достоевского произошла перемена. Он забыл о Вергунове, забыл про неловкую, сумбурную встречу с Марией Дмитриевной.

– Завтра я наколю вам дров. Я люблю заниматься этой крестьянской работой. Солдатская служба научила меня ей. Она требует особого подхода, как и литература.

Мария Дмитриевна подошла к Достоевскому со спины, положила ладони на плечи гостя и поцеловала в лысеющую макушку.

– Мой милый и дорогой Фёдор Михайлович! Золотой мой человек и вечная надежда! Треклятые чурбаки из зимнего леса – это в основном витиеватые комли старых берёз. Да и пихта насколько не лучше... Вы пробовали когда-нибудь колоть их? Здесь одним даже хорошим топором не обойтись. Николай обещал завтра принести деревенский колун. Вот и попробуйте проявить своё мастерство.

– А не проще нанять мужиков в таком случае? – повернул голову Достоевский.

Хозяйка, показалось ему, подставляет его, рассчитывая вогнать в откровенный разговор с Вергуновым.

– Проще конечно. Но местные мужики за работу берут до тридцати, а то и сорок копеек серебром. Вы понимаете, какие это деньги. Мы с Пашей живём на них два дня...

(Окончание следует)